



Джон Бёрджер
Дж.
Серия «Booker Prize»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11034115
Дж. : [роман] / Джон Бёрджер ; [пер. с англ. А. Питчер].: АСТ; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-086868-1

Аннотация

Дж. – молодой авантюрист, в которого словно переселилась душа его соотечественника, великого соблазнителя Джакомо Казановы. Дж. участвует в бурных событиях начала XX века – от итальянских мятежей до первого перелета через Альпы, от Англо-бурской войны до Первой мировой. Но единственное, что его по-настоящему волнует, – это женщины. Он умеет очаровать женщин разных сословий и национальностей, разного возраста и положения, свободных и замужних, блестящих светских дам и проституток. Но как ему удастся так легко покорять их? И кто он – холодный обольститель и погубитель или же своеобразное воплощение самого духа Любви?..

Содержание

Часть I	5
Часть II	18
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Джон Бёрджер Дж.

John Berger
G.

© John Berger, 1972

Школа перевода В. Баканова, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

* * *

Для Ани и ее сестер по движению за эмансипацию женщин

Часть I

1

Отца главного героя этой книги звали Умберто. Он торговал засахаренными фруктами в Ливорно и весьма преуспел в коммерции. Невысокий толстяк, Умберто выглядел еще ниже из-за чрезвычайно крупной головы. Эта необычная черта его внешности привлекала тех женщин, которых не пугали сплетни и общественное мнение. Огромная голова намекала на упрямство, солидность и страсть. Женщины из торгового сословия Ливорно или Пизы, отличаясь робким нравом, считали Умберто чудовищем и между собой называли его Скотом. Прозвище, данное за грубость, любострастие и наглость, таило в себе безотчетное, подспудное влечение, а потому никогда не употреблялось в присутствии мужей и звучало исключительно на женских посиделках.

Эсфирь, супруга Умберто, была еврейкой, дочерью либерального ливорнского газетчика и вышла замуж в двадцать лет. Отец полагал Умберто некультурным и невежественным, однако, верный своим либеральным убеждениям, не стал противиться браку, а через год внезапно умер. Неожиданная кончина родителя положила начало таинственному недугу самой Эсфири, обосновавшему ее незыблемое право на отстранение и уединение. Умберто казалось, что он женат на призраке (призраки он связывал с женщинами и их склонностью ко всему сверхъестественному). Эсфирь же утвердилась во мнении, что вышла замуж за чудовище, хотя в то время и не подозревала, каким прозвищем подруги нарекли ее мужа.

Душа общества в провинциальном городе, Эсфирь ежедневно принимала гостей и наносила визиты. От приглашения к ней на ужин не отказывался никто. Главным секретом успеха Эсфири – равно как и влияния, которым пользовался Умберто среди жителей Ливорно, – была ее внешность. Каштановые волосы она гладко зачесывала назад, подчеркивая узкое, невероятно бледное лицо, на котором темнели томные глаза, окруженные глубокими тенями. Эсфирь отличалась чрезвычайной худобой, хотя и не выглядела изможденной. Изможденность говорит о нездоровье и ненадежности плоти; Эсфирь, нежная и хрупкая, казалась созданной с необычайным искусством не из плоти и крови, а из иных, неведомых материй, не подверженных брэнному тлену.

Ливорнские друзья и знакомые Эсфири полагали ее внешность признаком возвышенной одухотворенности. Она единственная понимала их устремления, способна была оценить веру, красоту, душевные порывы, прощение, невинность, дочернее послушание и любовь. Собеседник, желая объяснить возвышенность своих чувств, безмолвно обращался к ней за подтверждением; кивок или медленно опущенные веки уверяли его в абсолютном понимании и, следовательно, в истинности его высказываний.

Наедине с ней женщины говорили исключительно о себе, стараясь выставить себя в самом неприглядном свете, ибо чем больше они себя хулили, тем весомее было последующее одобрение, которого они так жаждали и которое следовало немедленно за завершением рассказа, поскольку становилось ясно (к изумлению рассказчицы), что коль скоро их выслушали с интересом и без укоризны, то их деяния или намерения заслуживают признания. К Эсфири приходили как к исповеднику.

Подобное отношение возникло главным образом из-за ее супруга. Если бы не Умберто, Эсфирь сочли бы святой по сути, а не из-за внешнего облика, что неблагоприятно сказа-

лось бы на ее положении в обществе. Возможно, она и в самом деле олицетворяла некие духовные ценности; сама она считала, что ей больше приличествует служить символом ливорнской буржуазии. К счастью, Эсфирь была женой преуспевающего торговца засахаренными фруктами; более того, женой человека, печально известного своими грубыми манерами, цепкой деловой хваткой и непомерными аппетитами, а значит, в определенной степени не избежала его тлетворного влияния. Подобная испорченность, существование которой было невозможно ни доказать, ни опровергнуть, не позволяла считать возвышенную одухотворенность Эсфирь ни чрезмерной, ни постыдной.

* * *

Мать главного героя этой книги была двадцатилетней женщиной по имени Лаура, дочерью американки и британского генерала, ныне покойного.

Лаура и Эсфирь никогда не встречались, но представьте их бок о бок, так, как представлял их Умберто. Лаура, низенькая русоволосая толстушка с курносом носом, выглядит рядом с Эсфирь неуклюжей девчонкой. Впрочем, ведет она себя совсем не по-детски. Дорогие наряды она носит умело, хотя и без присущего Эсфирь достоинства. Лаура много и настойчиво говорит; Эсфирь слушает. Ладони Лауры пухлые и короткопалые; у Эсфирь изящные кисти рук с длинными чуткими пальцами. Лаура демонстрирует свое несогласие, широко распахивая золотисто-зеленые глаза; Эсфирь выражает недовольство, опуская веки. Потревоженная во время купания, Эсфирь цепенеет, будто испуганный зверек, и остается совершенно неподвижной. Лаура, напротив, прикрывает грудь руками, скрючивается и пронзительно визжит.

Друг к другу они питают ревность. Лаура уговорила Умберто показать ей фотографию жены и теперь считает, что Эсфирь наделена всеми теми восхитительными женскими качествами, которых ей, Лауре, не дано. Эсфирь подозревает, что Умберто тратит огромные деньги на свою американскую любовницу.

В Нью-Йорке семнадцатилетняя Лаура вышла замуж за миллионера, сколотившего состояние на медных рудниках; через два года она его бросила и уехала в Париж, к матери. Три года назад они с Умберто встретились на пассажирском пароходе, на пути в Геную. Умберто добивался ее внимания с сосредоточенной настойчивостью, дотоле неведомой Лауре. Она писала матери, что чувствует себя Клеопатрой (корабль шел из Египта). Они с Умберто провели целый месяц в Венеции.

«Умберто нанял певцов, которые сопровождали нас по каналам в гондолах, – сообщила Лаура в следующем письме. – Ах, я никогда это не забуду! Он тебе очень понравится. Поэтому в Париж я с ним не поеду. У него везде друзья, и здесь нас уже пригласили на бал. Умберто хотел купить мне бальное платье, но я отказалась, и вместо бала мы поехали в Мурано».

Три года они встречались в Милане и Ницце, в Женеве и Лугано, на озере Комо и в разных курортных городах, но Умберто никогда не позволял ей приехать в Ливорно. В перерывах между встречами Лаура уезжала в Париж, к матери и ее богатым друзьям-американцам, которым ничего не рассказывала о своем итальянском любовнике – торговце засахаренными фруктами. Она брала уроки пения (до тех пор, пока не решила, невзирая на протесты преподавателя, что способностей у нее нет) и изучала труды Ницше. Всякий раз, глядя на Умберто после долгой разлуки, Лаура изумлялась невероятности их отношений. В Умберто ее оскорбляло полное отсутствие утонченности и простодушная похвальба деньгами. Лаура убеждала себя, что в Нью-Йорке он был бы скромным официантом, до общения с которым они с дру-

зьями не снизошли бы. Впрочем, проведя час в его обществе, Лаура забывала о своем критичном отношении и будто оказывалась запертой в башне, покинуть которую могла только с уходом Умберто. В этой башне Лаура была одновременно и любовницей, и ребенком. Там она играла – серьезно или легкомысленно – с тем, что он ей предоставлял. Не видя Умберто, Лаура думала о нем, о его страсти к ней и о своих собственных чувствах, словно они были местом, которое можно посещать и куда можно возвращаться; она даже приходила туда в своих снах, однако никогда там надолго не задерживалась.

* * *

Умберто провел молодость в Нью-Йорке, служа в компании, импортировавшей оливковое масло и итальянский вермут, поэтому хорошо говорит по-английски, хотя и с сильным итальянским акцентом.

– Ах, Лаура, как величественны горные вершины! А озеро такое спокойное и умиротворяющее. Вечерний покой прекрасен, но ты еще прекраснее, *mia piccolo*, малышка моя. Только с тобой я способен насладиться спокойствием... Подумать только, ради тебя я проехал сквозь эти горы! Под землей! По пятнадцатикилометровому тоннелю¹, представляешь? Пятнадцать километров! Это чудо современной техники – пятнадцатикилометровый тоннель под горами. И ты, *passeretta mia*, мой воробушек, встречаешь меня на склонах!..

Умберто с любовницей садятся в экипаж и отъезжают с вокзала в гостиницу. Умберто только что приехал в Монтрё. Он обнимает Лауру и пытается лизнуть ей ухо.

– За кого ты меня принимаешь? – возмущенно говорит она и отталкивает Умберто.

– За Лауру, за мою Лауру, – шепчет он. – Ты – моя Лаура.

Из внутреннего кармана пальто он вытаскивает сверток, перевязанный голубой ленточкой, и, почтительно склонив голову, обеими руками протягивает его Лауре, будто подношение. Она берет сверток, а Умберто тут же хватается за бедра. Она укоризненно смотрит на его руки. (Лаура давно старается отучить его прилюдно демонстрировать свои чувства. По мнению Умберто, экипаж – то же самое, что отдельный кабинет в ресторане, хотя Лаура утверждает, что общественные места не становятся частными владениями только потому, что за них заплачено.) С тыльной стороны руки Умберто покрыты черными волосками. Эти властные руки хорошо знакомы Лауре – они все делают так, как ему угодно. За ужином этими руками Умберто обрисовывает громады своих замыслов компаньонам, которые рады принять участие в предлагаемых предприятиях. На рынке одобрительное прикосновение этих рук возводит фрукты в разряд наилучших, а пренебрежительное – отправляет их на свалку. Умберто откидывается на спинку сиденья и смотрит, как Лаура разворачивает подарок.

Из-под слоев черной папиросной бумаги она извлекает зеленую бархатную шапочку-джульетку, расшитую жемчугом, и ахает. Умберто решает, что это вздох восхищения.

– Жемчуг настоящий, *passeretta mia*.

«Ну почему ему втемяшилось в голову подарить мне эту дурацкую шапочку именно сегодня?! Мне же не шестнадцать лет! – Безрассудство любовника приводит Лауру в ярость, как и то, что при встрече он едва не укусил ее за ухо. – Почему он не задумывается, нравится мне это или нет? Мог бы и запомнить!»

– Я ее не надену, – заявляет она. – Эта нелепая вещица больше подойдет юной воспитаннице католической академии.

В полумраке экипажа шапочки почти не видно. Три полоски жемчуга ожерельем лежат у Лауры на коленях.

¹ Готардский железнодорожный тоннель открыли в 1882 году. При его строительстве погибли восемьсот человек.

– И притворяться мне ни к чему, правда же? – продолжает она. – Ты расстроишься, если я не буду ее носить?

– Купим тебе ожерелье, – говорит он.

Умберто обожает ее независимость. Где бы он ни был, Лаура приезжает к нему, предварительно изучив историю местности. Она водит его по замкам и садам, показывает ему достопримечательности и всегда знает, чего хочет. Но стоит ему заключить ее в объятия, как она становится покорной, как воробушек. Поэтому он ее так и зовет – *passeretta mia*, мой воробушек.

– Мы поужинаем в номере, – говорит он. – Устроим пир, закажем белое швейцарское вино. Помнишь, ты говорила, что заказывать его – все равно что есть рыбу ножом. А потом нас ждет постель, *passeretta mia*. Завтра мы пойдем искать тебе ожерелье, и если не найдем такого, которое тебе понравится, то поедem в Милан.

В постели Умберто всякий раз изумляется своей любовнице, хотя всякий раз не верит, что она снова его изумит. Этим объясняется его нетерпение. Лаура, с виду такая бойкая, волевая и независимая, в постели превращается в ласковое и покорное создание; Умберто поражают ее легчайшие, невесомые прикосновения.

Лобок ее покрыт тонкими редкими волосками, мягкими, как шелк; маленькие розовые соски наливаются багрянцем под поцелуями; когда она запрокидывает голову и улыбается, между верхними и нижними зубами виден тончайший просвет, не шире песчинки. Нежное, податливое тело изумляет Умберто и будит в нем пылкую страсть.

– Я сохрaню шапочку, – говорит Лаура и касается его руки. – Кто знает, может, в один прекрасный день я подарю ее дочери.

– Ах, девочка моя, ты такая сумасшедшая! Право же, *matta*!

Умберто восторженно называет Лауру *matta*, помешанная. Для него безумие – отличительная черта Ливорно. Оно таится в огромных складах, слепых и безмолвных, будто заброшенные крепости; в фигурах четырех мавров, прикованных цепями к памятнику Фердинандо I Медичи; в скоплении товаров, переполняющих город; в небе, нарезанном на квадраты рядами зданий над темными каналами; в непоседливости жителей; в безликости стен; в пустырях; в запахе бедности и богатства; в укромной бухте.

Ливорно периодически охватывает безумие. Впервые Умберто заметил это десятилетним мальчишкой, в 1848 году. Мосты, пустыри, пристани, площадь Сан-Микеле, четыре мавра, палубы и мачты кораблей, выстроившихся вдоль берегов бухты, – все это заполнено людьми. Над толпой нависают четко очерченные прямоугольники массивных зданий, прижимают ее, но она растет и растекается все дальше и дальше, без конца и края, а люди все прибывают и прибывают: *i teppisti*! Мятeжники!

Толпа проверяет человека на прочность. Толпа осознает свою судьбу независимо от жизни каждого из собравшихся. Судьба толпы заключается в постоянных лишениях и унижениях, но ее потребностей это не умеряет. В каждом взгляде горит желание, однако удовлетворить его невозможно. Разумеется, такое противоречие неизбежно приводит к насилию, столь же очевидному, как само присутствие толпы. Толпа стремится уничтожить противоречие. Ей необходимо разрушить установленный порядок, который из поколения в поколение определяет возможное и невозможное. Толпа ставит простой выбор перед тем, кто не является ее частью: либо видеть в ней надежду человечества, либо проникнуться всепоглощающим страхом. Тому, кто находится вне толпы, трудно увидеть в ней надежду человечества. Эту надежду может заметить только подготовленный.

Умберто боялся толпы, объясняя свой страх тем, что толпа безумна.

В толпе ораторы произносили страстные речи. Жаркими летними ночами 1848 года мальчик по имени Умберто обливался потом в своей постели. Лица ораторов распухли от жары; по щекам, будто слезы, струился пот.

Умберто считает, что любому разумному человеку следует полагать себя отличным от остальных, ведь только это позволит ему понять, чего именно он сможет или не сможет добиться от жизни. По мнению Умберто, лишь безумец требует всего или ничего. *Roma o Morte!* Рим или смерть!

Умберто не может оставить жену. Он не ощущает преемственности и последовательности ни в детях (которых у него нет), ни в своем окружении; он одинок, брошен на произвол времени. Ради процветания дела и успеха своих предприятий ему приходится быть на дружеской ноге с теми, кого он презирует или ненавидит. Даже в доверительных беседах он не раскрывает и десятой доли того, что у него на уме.

– Ах, девочка моя, ты такая сумасшедшая!

Умберто зовет безумием то, что ему угрожает. Не тех, кто угрожает ему лично – конкурента, вора или того, кто наставит ему рога, – а то, что грозит разрушить саму структуру общества, которое обеспечивает Умберто привилегированный образ жизни.

Привилегии для Умберто важнее, чем сама жизнь, – не потому, что он не выжил бы без своей американской любовницы, четырех слуг, фонтана в саду, шелковых рубашек или званых ужинов жены, а потому, что в привилегиях заключена система ценностей и оценок, с помощью которых он судит о смысле прожитой жизни. Все его ценности проистекают из веры в то, что привилегии он заслужил.

Однако же осознанный Умберто смысл жизни его не удовлетворяет. Он спрашивает себя, отчего свобода всегда воспринимается как уже завоеванное, подчиненное качество? Отчего свободой нельзя наслаждаться без того, чтобы за нее бороться?

Умберто называет безумием то, что угрожает общественному порядку, гарантирующему его привилегии. *I teppisti* олицетворяют безумие. Но безумие также предполагает свободу от общества, в котором он существует. Таким образом, Умберто приходит к выводу, что ограниченное безумие даст ему больше свободы в обществе.

Он зовет Лауру сумасшедшей в надежде, что она привнесет в его жизнь частичку свободы.

– Умберто, у меня будет ребенок. Наверное, девочка. Если родится девочка... – Лаура вспоминает о шапочке и решает, что разговор о подарке поможет смягчить резкое заявление. Она рада, что забеременела, постоянно думает о будущем ребенке, но считает унижительной необходимость упоминать о своей беременности. – Если родится девочка, то на ее пятидесятителетие я подарю ей твою джюльетку. Шапочка будет ей к лицу.

У гостиницы швейцар подбегает к экипажу и распахивает дверь.

– Закройте! – велит ему Умберто и просит извозчика поехать к озеру.

Извозчик пожимает плечами. Идет дождь, опускаются сумерки, на озере ничего не увидишь.

– Как ты себя чувствуешь? – спрашивает Умберто.

– Превосходно.

– Ты была у врача?

– Да.

– А кто он?

– Мой врач в Париже.

– Что он сказал?

- Что так оно и есть.
- Что так оно и есть?
- Да.
- Врач так сказал?
- Да.

Слово «да» звучит весомо, подкрепленное авторитетным заявлением неведомого врача, и позволяет Умберто примириться с новостью, лишает ее загадочности, делает управляемой, доступной для обсуждения; окрашивает ее, придает форму и вес, так что новость утрачивает свою первоначальную неопределенность и абстрактную белизну.

- Я отец, – произносит Умберто.

Это не вопрос, а утверждение, но Лаура кивает, хотя и не видит никаких преимуществ в том, что Умберто – отец ребенка.

- Почему ты мне раньше об этом не сказала? Ты же мне писала.
- Я решила, что лучше объяснить при встрече.

Умберто лихорадочно раздумывает, что можно и чего нельзя сделать в Ливорно для незаконнорожденного сына.

- А сколько... – Он торопливо загибает пальцы, будто подсчитывая.
- Три месяца.
- Назовем его Джованни.
- Почему Джованни? – спрашивает Лаура.
- Так звали моего отца, его деда.
- А если родится девочка?

– Лаура! – отвечает он, однако по его тону не разобрать, что это – предлагаемое имя или реакция на невероятное предположение любовницы о том, что Умберто способен произвести на свет дитя женского пола. – Как ты себя чувствуешь, малышка?

– По утрам мне нездоровится, а днем я страшно голодна. Не понимаю, зачем мы катаемся вокруг озера, погода ужасная. Я бы съела пирожное. Здесь делают очень вкусные пирожные, мать о них рассказывала. Миндальные.

– Знаешь, у меня никогда не было детей, – говорит Умберто. – И я... как это сказать... *rassegnato*. Смирился.

Он пытается ее обнять. Она вырывается.

– Ты – мать моего ребенка! – Он удивлен. – Почти что жена. Если бы я мог, я бы на тебе женился.

Благородный ответ не удовлетворяет, а разъяряет Лауру. Ей кажется, что своими словами Умберто преобразует ее, превращает в свою жену – в ту, что живет в Ливорно, в ту, которую он всегда хотел назвать матерью своего ребенка. Она, Лаура, становится матерью ребенка главы семьи. Это превращение странным образом преображает и жену в Ливорно; теперь Эсфирь олицетворяет соблазн, свободу и неумолимость. Два месяца мысль о ребенке радовала Лауру. Она не представляла себе, что ребенка придется родить для отца, независимо от ее воли... Лаура всхлипывает.

Она позволяет себя утешить. Умберто – причина ее расстройства, однако он же облегчает ее страдания. Нет, не тем, что устраняет причину – сам факт своего отцовства, – а своим присутствием, своим телом, так, что осознание Лаурой своей горькой участи постепенно растворяется, как растворяются в сумраке очертания ворот или слова, написанные на бумаге. В объятиях Умберто все ее тревоги и заботы отходят на задний план; ее имя, произносимое с младенческой интонацией, всплывает откуда-то изнутри, просачивается из-под кожи – из-под ее детской, чувствительной кожи.

С изумленным любопытством ребенка она нежно гладит огромную тяжелую голову с седой гривой волос.

Еще в детстве Лаура поняла – из собственного опыта и из некоторых замечаний матери, – что женское тело полно тайн, восхитительных и постыдных. С возрастом она убедилась, что чрезвычайно чувствительна ко всему, что с этим связано. К примеру, внезапный испуг вызывал у нее месячные, лифчики натирали ей соски, а матка конвульсивно сжималась от ласкового прикосновения к определенному месту на плече. Подобная чувствительность Лауру смущала, раздражала и, как ни странно, радовала, давая надежду на то, что в один прекрасный день появится мужчина, которому можно будет поверить эти тайны.

* * *

Ужин подают в номер. Лаура все еще всхлипывает, а Умберто старается развлечь ее рассказами о жизни в Ливорно. После ужина он снимает сюртук, развязывает галстук, отстегивает воротничок рубашки и говорит:

– Иди ко мне, моя зеленоглазая малышка.

Лаура корчит недовольную гримаску.

– Давай просто полежим рядышком, обнимемся, как дети, – уговаривает ее Умберто.

Она ни минуты не сомневалась, что хочет родить ребенка. Дитя будет принадлежать ей и только ей. Скандала Лаура не страшится – имея в своем распоряжении значительные средства, жить она может где угодно. Глупо соблюдать приличия. Она готова еще раз бросить вызов обществу, как в семнадцать лет, когда вышла замуж, несмотря на возражения родных, а потом, два года спустя, во всеуслышание велела мужу навсегда оставить ее в покое.

Она нежится в объятиях Умберто, безразличная к его страсти. Ей нравится, когда он лежит тихо. Она позволяет ему лелеять себя, однако находит его пылкость нелепой. Прежде она не уклонялась от ласк Умберто, потому что это давало ей возможность продемонстрировать изощренную сексуальность своего тела, которое Лаура считает непредсказуемым, чувствительным и безупречным, как ядрышко миндаля в скорлупе. Сейчас она изумлена своим равнодушием. Младенец уже наделил ее даром самодостаточности.

Ради здоровья матери своего сына Умберто готов на любые уступки. Он лежит смирно. Его мысли в смятении обращаются к механике грядущего события. Он решает, что именно в этом заключено решение всех его проблем.

Он лежит, опустив руку между бедер Лауры. Палец его покоится меж губ ее влагилица. Теплая слизь обволакивает палец, будто кожа. Чуть раньше ладонь Умберто нащупала небольшую выпуклость на животе Лауры, под самым пупком.

Прежде он входил в Лауру, а теперь из нее на свет выйдет его сын. Внезапно Умберто понимает, что само устройство влагилица, которое он считал созданным для удовлетворения своих потребностей, на самом деле возникло для удобства другого человека, которому предстоит этим путем явиться в мир. Умберто не хочется убирать руку. Он осторожно шевелит пальцем, но не ощущает никаких изменений и впервые осознает всю необычность феномена рождения.

Проходит минута в жизни мира. Изобразите ее как есть².

Так положено начало персонажу, о котором я пишу.

Умберто насильно притягивает Лауру к себе, хватая ее за плечо, утыкается носом ей в волосы. Он вдруг понимает, что все без исключения брошено на произвол судьбы. Подроб-

² Высказывание Поля Сезанна, источник не установлен. (Здесь и далее – примеч. автора.) Слова Сезанна приводит Жоахим Гаске в своих мемуарах «Сезанн: Воспоминания и беседы». – Примеч. пер.

ности процесса деторождения ему неизвестны, но, воображая нелегкий путь, который предстоит проделать младенцу, вырастающему из крохотного комочка, Умберто осознает, что они с Лаурой ничем не отличаются от других.

Лаура берет в ладони его голову – это последнее проявление ее нежности.

– Лежи спокойно, – говорит она. – Подумай о ребенке.

Он вспоминает, как однажды приехал к приятелю, цветоводу, владельцу огромных теплиц вдоль дороги к Пизе. Стекла теплиц покрыты тонким, прозрачным слоем краски (бирюзовой, цвета моря), чтобы солнечные лучи не обжигали нежные лепестки. Краску наносят снаружи, она высыхает тонкой пылью, которая осыпается при прикосновении. На стеклах прохожие пальцами рисуют всевозможные картинки. Умберто идет вдоль теплиц, рассматривает изображения: сначала сердечки, пронзенные стрелой и украшенные инициалами влюбленных; потом грубо намалеванные обнаженные силуэты; затем карикатурный рисунок женщины, лежащей с широко раскинутыми ногами и зияющей щелью; и наконец, крупнее и отчетливее предыдущих, попытка передачи анатомических подробностей – влагалище и член. Сам Умберто никогда бы такого не нарисовал, но сейчас осознает, что они с Лаурой стали именно такой картинкой.

Еще недавно тело Лауры – как и их связь – было тайной, предназначенной только для них двоих. Увы, тайна раскрыта; о ней известно третьему – его сыну.

– *Donna mia, Donna mia!* – глухо шепчет он в волосы Лауры.

* * *

– Я плохо спал. То, что ты мне сообщила... новость? Так можно сказать, новость? Как в газете... Так вот, эта новость всю ночь стучала мне в сердце. Лаура, я хочу все изменить. Я хочу найти место в моей жизни для тебя и нашего сына.

– Откуда ты знаешь, что родится мальчик?

– Я чувствую.

– А я ничего не чувствую. Мне все равно, мальчик или девочка. Надеюсь, если родится девочка, она вырастет хорошенькой. Так будет проще – для нее, не для меня. Мальчикам легче, от них красоты не требуют.

– Я очень тобой горжусь. Я горжусь своим сыном. Я ничего не хочу скрывать.

– А у тебя и не получится!

– Я дам вам все необходимое. Все, что пожелаете.

– Нам от тебя ничего не нужно.

– Лаура, послушай, что я тебе скажу. Может быть, ты не понимаешь. Всю свою жизнь я мог себе позволить делать все, что пожелаю. В молодости мои желания были скромны, но теперь у меня возникли грандиозные замыслы. Ради тебя и нашего сына.

– К чему ты ведешь разговор о деньгах? Деньги тут совершенно ни при чем. Я никогда о них не думаю.

– Я рассказываю тебе о своих сердечных порывах и замыслах, чтобы ты поняла, как я горжусь.

– Что еще за замыслы?

– Вы, ты с ребенком, переедете в Италию, чтобы я был с вами рядом.

– В Ливорно?

– Ливорно – несчастный, безумный город.

– В котором живет твоя жена! Поэтому ты называешь его безумным.

– Она не из Ливорно.

– Но она там живет. И ждет.

– Ждет?

– Ждет, когда ты к ней вернешься!

– *Passeretta mia*, ты ведь знаешь, что я женат. Ты с самого начала знала, вот уже три года.

– Значит, в Ливорно нам нельзя. Значит, я буду твоей незаконной женой и матерью твоего незаконнорожденного ребенка. Знаешь, как называют детей, рожденных вне брака? Ублюдок. Твой ублюдок. Но это мой ребенок, и потому в Ливорно нам нельзя.

– Не волнуйся ты так!

– Почему ты никогда не позволяешь мне приехать в Ливорно? Боишься, что нас узнают?

– Я хотел, чтобы тебе все нравилось. Я хотел, чтобы мы с тобой проводили ничем не омраченные дни. Я и сейчас этого хочу. Но теперь у нас с тобой есть большее. Даже не верится, что это произошло с нами. С нами, с Умберто и Лаурой. Все изменилось.

– А что скажет твоя жена, когда ты ей признаешься, что привез в город любовницу и своего ублюдка?

– Ничего она не скажет.

– А ты собираешься ей признаваться?

– Нет.

– Думаешь, она не узнает?

– Разумеется, узнает. Но ничего не скажет.

– И ты еще заявляешь, что гордишься нами? Никакой ты не отец! Просто ты не смог устоять перед американской потаскушкой.

– Умоляю тебя, не кричи. И не выражайся. *Passeretta mia*, что с тобой стряслось?

– Вот что со мной стряслось! – восклицает Лаура и шлепает себя по животу.

– Да, из-за него все изменилось. Я хочу, чтобы ты жила в Пизе. Там есть превосходная вилла, с садом, а в комнатах – высокие расписные потолки. Графская вилла, между прочим. Я ее для тебя куплю.

– И мы там будем тебя целыми днями дожидаться? А ты к нам будешь приезжать? Сколько раз в неделю? Два? По вторникам и пятницам?

– А хочешь, живи во Флоренции. Или подыщем тебе дом во Фьезоле, над рекой Арно. Райский уголок!

– Да? И когда ты нас туда поселишь, что прикажешь нам делать?.. Глупости все это! Пойми, мы будем жить там, как арестанты в тюрьме.

– О чем ты? Какая тюрьма? Куда захотите, туда и пойдете.

– А с кем мы будем встречаться? И как мне с ними разговаривать?

– Я найму тебе учителя итальянского.

– Ах, так вот почему ты хочешь назвать его Джованни!

– Я хочу, чтобы он мог говорить на разных языках. Так ему легче будет путешествовать по миру. Сам я мало где побывал.

– Умберто, ты серьезно? Ты же лучше меня понимаешь, что такое Италия. С нами никто знаться не будет. Мы станем изгоями – я, незамужняя женщина, и мой незаконнорожденный ребенок.

– Милая моя, ты ведь замужем.

– Да, но не за тобой!

– В один прекрасный день я смогу на тебе жениться.

– Ты разведешься?

– Ты же знаешь, в Италии развестись невозможно.

– Значит, ты на мне не женишься.

– Моя жена очень больна.

– А, понятно. Значит, мы должны сидеть в нашей тюрьме и ждать, пока твоя жена умрет, после чего ты благородно женишься на мне, и я стану респектабельной женщиной. Да как ты смеешь мне такое предлагать?

– Я тебя люблю.

– Любишь? Ты бросаешься этим словом направо и налево, как все мужчины.

– Лаура, ты тоже говорила, что любишь меня.

– Да, три года назад, в Венеции, я была в тебя влюблена. Ты был не такой, как другие. Ты бы мог сделать из меня кого угодно, но так никого и не сделал. Женщина – это не деньги, которые кладут в банк и ждут, пока они принесут проценты. Женщина – это человек. По-твоему, мне лучше сидеть сложа руки десять месяцев в году, дожидаясь, когда ты выберешь время меня навестить? Нет, такая жизнь мне ни к чему!

– Я все изменю, вот увидишь. Ты поселишься в Пизе или во Флоренции, и мы постоянно будем вместе. Нам никто не помешает. У мальчика будет заботливый, любящий отец. Я сделаю его своим наследником. Мы будем счастливы вдвоем.

– Вчетвером!

– Вчетвером?

– Не забывай, что ты женат.

– Я же тебе объяснил...

– Вот ты говоришь, что гордишься. А я – стыжусь. Из-за тебя, между прочим. Мне стыдно за всех нас. Как мне взглянуть в глаза ребенку и признаться, что день за днем, год за годом я жду ее смерти?

– Сядь, *passeretta mia*, давай поговорим спокойно. Я старше тебя. Я практичнее. Нам очень повезло по сравнению с остальными. Ты не представляешь, как они живут. Жизнь никогда не складывается так, как нам хочется. Бессмысленно желать всего сразу, потому что в итоге не получишь ничего. Да, наша жизнь не будет идеальна, но идеал – это сказки для тех, кто верит в доброго Господа и загробную жизнь. Зато наша жизнь будет лучше, чем ты предполагаешь. Вот увидишь, я это устрою. Мы оба ошибались. Я тебя старше и ошибался чаще. Но и ты сама не сможешь начать жизнь сначала, как невинная семнадцатилетняя *fidanzata*, как невеста. А с тобой у меня появился последний шанс стать счастливым. И я не хочу его упускать. Ты явилась мне, будто ангел, чтобы меня спасти. Ангелы дважды не являются. Я ничего не пожалею для того, чтобы сделать тебя счастливой.

– Переезжай сюда, живи здесь с нами.

– Я попробую. Но это слишком далеко.

– Слишком далеко от дома?

– Нет, от моего дела.

– Ах, дела для тебя важнее нас?

– Мое дело унаследует мой сын. Он не будет бедствовать.

– Значит, ты лишишь свою жену наследства?

– Я тебе уже объяснил, что произойдет.

– У тебя нет ни стыда, ни совести.

– Неправда. Просто я называю вещи своими именами. Я хочу тебя и сына. Без вас моя жизнь напрасна. Вся моя жизнь зависит от этого шанса. Я люблю тебя больше всех на свете. Тебя никто так никогда не полюбит. Молодые мужчины любить не умеют, они легкомысленны. Я знаю тебе цену. Приезжай в Пизу. Дай мне возможность показать...

– Там я буду в тюрьме.

– Из меня выйдет хороший отец. Если бы ты знала, как меня переполняют отцовские чувства! Я буду любящим, заботливым, понимающим отцом. Я буду гордиться сыном. В нем я буду видеть тебя. У него будет твоя импульсивность и богатое воображение.

– А какие черты он унаследует от тебя?

– Помнишь, как меня прозвали в Ливорно? Я же говорил тебе, что мне дали прозвище Скот, потому что я хитер и практичен. Надеюсь, сын унаследует мой реалистичный взгляд на вещи.

– Ты считаешь себя реалистом?

– Разумеется. Вот увидишь. У нас не будет другой возможности.

– Для чего?

– Для того, чтобы ты была сыну матерью, а я – отцом. Чтобы мы вдвоем были счастливы.

– Я намерена воспитать ребенка так, как хочу я, а не так, как хочешь ты. Если родится мальчик, то он не будет знать лжи. Если родится девочка, то она будет любящей, честной и реалистичной. Мой ребенок обойдется без твоих полумер. Первые десять лет жизни я сама буду его воспитывать.

– Но я имею право...

– Нет у тебя никаких прав!

– Лаура!

– И не проси. Ты опоздал.

Смятые простыни на разобранной кровати, ковры, мебель, чугунная решетка балкона за окном, серо-сиреневые воды озера, Альпы – все, что доступно взору, – все это незыблемо и равнодушно. Только сердца колотятся часто-часто.

* * *

Зачатие главного героя произошло через четыре года после смерти Гарибальди.

Гарибальди был героем.

Гарибальди победил врагов Италии. Он вдохновил итальянский народ на самосознание и самоопределение.

В Гарибальди воплотились желания каждого итальянца. В этом смысле его можно назвать олицетворением национального духа. В Италии не было человека – даже среди верных Бурбонам войск Неаполитанского королевства, – который не хотел бы стать Гарибальди. Превратиться в Гарибальди пытались многие, и разными способами: одни выступали против него; другие, как Ла Фарина в Сицилии, предавали его; Кавур в Турине его использовал. Впрочем, превращению человека в Гарибальди препятствовали не личные качества; препятствовало убогое состояние Италии. Это убожество каждый понимал и объяснял по-своему. Для крестьянина убожество заключалось в невозможности оставить свой надел; для приверженца конституционной формы правления – в несостоятельности заговора.

Встреча с Гарибальди ошеломяла людей; до той минуты они не осознавали, кто они. В его присутствии они открывали себя.

...в оборванном мундире, а из оружия при нем были только пистолет и сабля.

– Что заставило тебя отказаться от легкой и обеспеченной жизни и прозябать здесь, в поле, без жалованья и без пропитания?

– А я и сам не знаю, – ответил он. – Две недели назад я отчаялся, хотел было все бросить и сбежать. Вот сидел я на пригорке, а Гарибальди мимо проходил. Остановился рядом, не знаю даже почему. Я с ним никогда ни словом не обмолвился, он и не знал, кто я такой. Но подошел, встал подле меня. Наверное, вид у меня был очень несчастный. А Гарибальди положил мне руку на плечо и сказал своим низким глухим голосом, будто дух какой загово-

рил: «Крепись! Мужайся! Мы идем в бой за Родину!» Как после этого сбежишь? На следующий день началась битва при Вольтурно...³

Седьмого сентября 1860 года Гарибальди вошел в Неаполь.

Venù è Galubardo!

Venù è lu piu bel!

Многотысячные войска Бурбонов все еще занимали четыре укрепленных форта в городе. Король бежал. Пушки крепости были наведены на город. Пронесся слух, что Гарибальди прибудет не с армией краснорубашечников, а в одиночку, поездом. Залитые слепящим солнцем улицы опустели. Никто не знал, верить слухам или нет. Люди попрятались по домам. В половине второго пополудни Гарибальди приехал на вокзал. Полмиллиона жителей Неаполя, не обращая внимания на пушки, высыпали на улицы и пристани и, выкрикивая приветственные возгласы, отмечали знаменательное событие.

Гарибальди не был ни прирожденным военачальником, ни политиком. Его легко было обмануть, однако же он вдохновил целую нацию – не властью и не по дарованному ему Богом праву, а олицетворяя собой простые и невинные желания юности. Он личным примером убедил итальянцев, что эти желания можно реализовать в национальной борьбе за свободу и независимость. В нем народ чтит святость своей невинности.

К этой роли прекрасно подходили и внешность, и все черты характера Гарибальди. Сила и храбрость. Мужество. Длинные волосы, которые он аккуратно причесывал после сражений. Неприязательность вкусов. «Если у патриота есть миска супа, а дела в стране идут хорошо, то больше и желать нечего», – утверждал он. Пустынный остров, где Гарибальди пас стада овец, когда у страны не было в нем нужды. Патриотизм, который противоречил его теориям и принципам (Гарибальди был республиканцем и признавал власть Виктора Эммануила). Самолюбие. Чувство юмора. Не красноречие, но убедительность жестов. «Если бы он не был Гарибальди, то стал бы величайшим трагическим актером». (Он мало говорил, и люди разных – зачастую прямо противоположных – убеждений считали, что он их поддерживает.) Полное непонимание того, что движет миром. Порывистость.

В ком еще разобщенный народ Италии мог найти свое отражение и объединиться?

В каком другом абсолютно честном человеке смогла бы так обмануться нация?

То, как Гарибальди вдохновлял народ, представляло опасность для возникшего правящего класса. Если Гарибальди олицетворял устремления простых итальянцев, то его желания могли пойти дальше изгнания австрийцев и Бурбонов. Гарибальди угрожал порядку – не потому, что действовал заговорщицкими способами, а именно потому, что воодушевлял.

Толпы, собравшиеся в Неаполе под жерлами пушек, устроили трехдневное празднование.

Калабрийские крестьяне верили, что Гарибальди, как Христос, способен творить чудеса. Когда краснорубашечники умирали от жажды, Гарибальди выстрелил из пушки в скалу, и оттуда хлынула вода.

Гарибальди чтит память трагически погибшего Карло Пизакане, социалиста-утописта, чьи труды будоражили умы целого поколения итальянских революционеров.

«Пропаганда идеи – химера. Идеи возникают из действий, а не действия из идей; не образование освободит народ, а освобожденный народ получит образование. Гражданин, желая действовать на благо своей страны, должен активно помогать революции, то есть деятельно продвигать Италию к цели, принимая участие в конспиративных сходах, в организации заговоров, убийств и пр.».

³ Здесь и ниже цитируются отрывки из книг Х. Р. Хоуса «Воспоминания о встречах с Гарибальди и гарибальдийцами» и Джи М. Тревельяна «Гарибальди и создание Италии».

И все же союз с правящими кругами надежно обуздал Гарибальди. Его жесты отвергали тех, кто стоял у власти, а его победы укрепляли правительство. Национальный герой помог заложить основы буржуазного государства.

После смерти Гарибальди в его честь называли улицы и площади во всех городах Италии. Его имя непрерывно звучало повсюду, но совершенно не было связано с тем, что происходило на этих улицах и площадях.

* * *

В Париже Лаура кормит грудью новорожденного. Ее молоко – будто ртуть, покрывающая чудесное стекло. В этом зеркале ребенок – часть тела Лауры; все части ее тела удвоены. Но в то же время в этом зеркале она сама – часть ребенка, она дополняет его так, как ему угодно. Она – либо предмет, либо отражение в зеркале. Она вольна обращаться с ним или с самой собой. Оба они, до тех пор, пока сосок остается во рту, превращаются в части неделимого целого, энергия которого разъединит их, как только ребенок перестанет сосать грудь.

«Мне больше ничего и не нужно, – думает Лаура. – Мальчик вырастет, но я увижу себя в нем».

Лауру занимает не она сама, а младенец. Все ее нервные окончания, все ее ощущения постоянно направлены на ребенка, на удовлетворение его нужд. Ее чувства, будто сеть кровеносных сосудов, проникают в плоть ребенка, обволакивают его. Когда она к нему притрагивается, то чувствует невинное прикосновение к самой себе.

Ей хочется ему поклоняться, потому что с ней он возносится над миром, выходит за его пределы. Она желает полностью посвятить себя ему, отвергая все прочее. Ей не терпится создать для младенца новый мир, где возможен иной образ жизни, отличный от существующего уклада.

Часть II

2

Лауре не удалось по-новому устроить свою жизнь с младенцем. Она забыла о незыблемом укладе, присущем зажиточным семьям в девятнадцатом веке. Если бы она решила жить одна с ребенком – вести богемный образ жизни, – то, возможно, добилась бы своего. Однако же в парижском особняке матери планам Лауры постоянно мешали бесчисленные няни, горничные, экономка и врач. С ребенком она проводила всего несколько часов в день. О повседневных нуждах – стирке пеленок, глажке, уборке детской, приготовлении еды – заботилась прислуга. Лауре доставалось лишь купание младенца, да и то под присмотром няни и служанки, которая приносила воду для ванны.

Впрочем, сама Лаура не могла объяснить, чего ей хочется. Если бы она сказала, что желает всегда быть рядом с сыном и на несколько лет посвятить ему все свое время, что она хочет жить с ним на равных, ползать, гулить, делать первые шаги, повторять детский лепет, во всем следуя развитию ребенка... Если бы она все это сказала, ее сочли бы истеричной особой и отдали бы под наблюдение врачей. В девятнадцатом веке младенцам – как и всему остальному – отводилось строго определенное место.

Умберто умолял ее о свидании с сыном. Лаура не отвечала на письма и заявила матери, что отец ребенка – сумасшедший. Прошло два года. Мать Лауры вышла замуж и вернулась в Америку. Лаура переехала в Лондон, где новые знакомые, быстро ставшие близкими друзьями, соблазнили ее прелестями фабианского социализма. Пока она искала себе жилье, мальчика решили на несколько месяцев отправить в деревню, к родственникам. Родственники пребывали в стесненных финансовых обстоятельствах, и Лаура попросила мать им помочь. В Лондоне Лаура заинтересовалась политикой, решив, что тайна жизни заключена не в теле, а в эволюционном процессе. К сыну она приезжала все реже и реже. В деревне мальчику было хорошо. Няню-француженку отослали в Париж, а вместо нее наняли английскую гувернантку. Родственники (Джослин и Беатриса, брат с сестрой) согласились оставить мальчика у себя, и его детство прошло на ферме.

Животные не восхищаются друг другом. Конь не восхищается своим сотоварищем. Не то чтоб они не состязались в беге, но это не имеет последствий, и, оказавшись в стойле, тот, что тяжелей и нескладней, не уступит своего овса другому, как того желают люди в обращении друг с другом. Их достоинства находят удовлетворение в самих себе⁴.

Кость черепа здесь туго обтянута кожей, но даже на этом тонком слое растет шерсть. Слегка вогнутая кость образует впадинку. С каждой стороны от нее – большой выпуклый глаз. Это лобная часть головы. У человека такого места нет: органы чувств сосредоточены густо, глаза посажены слишком близко друг к другу, лицо очерчено резко. Человеческое лицо – как клинок, лезвие которого обращено к миру.

Если ладонью погладить едва заметную впадинку с островком шерсти на тонкой коже, животное кивает. Но ладонь слишком мягкая, ее касание почти не чувствуется. Надо сжать руку в кулак, потереть голову животного костяшками. Корова не закрывает глаз, глядит безмятежно и спокойно – не чувствует вблизи опасности.

⁴ Блез Паскаль, «Мысли о религии и других предметах», № 685.

Так поступают в детстве. А взрослые мужчины, в горе или от раскаяния, прикладывают лоб к коровьему лбу, кость к кости.

В сознании Беатрисы глубоко укоренилось выражение «бессловесная тварь». В нем нет ни снисходительности, ни жалости, но для Беатрисы впадинка между глаз отчего-то связана с неспособностью животных говорить.

В детстве ее озадачивали рога; точнее, не сами рога, а то, как они растут – твердые, выпуклые вздутия под шерстью. В подростковом возрасте она воспринимала рога как образец того, что происходит с ней самой. Она осознала, что рост рогов не означает подчинения бегу времени, не имеет ничего общего с покорностью, а просто отмечает отмеренный срок. Коровьи рога сродни жизненному опыту человека.

На ферме всегда держали скотину, и жизни без нее Беатриса не представляет. Нет, она не сюсюкает с хилым ягнёнком, которого приносят выхаживать из хлева в дом. Она не жалеет, когда приходится продавать корову, переставшую давать молоко. Без скотины ферма станет бездейственной, необитаемой, сгинет под напором времени, как дуплистое дерево. Животные мирно жуют жвачку, вздыхают (по ночам), пасутся, плодятся и размножаются – и отгораживают Беатрису от безжизненных звезд.

В детстве скотину держал ее отец. Животные его слушались, как и сама Беатриса. Он разговаривал с ними – и с ней – тихо и ласково. Со всеми остальными он был груб и раздражителен.

Ей двадцать четыре года. Лицо у нее широкое, будто уши постоянно растягивают ей рот в улыбку. Полные губы слегка приоткрыты, за ними блестят белые зубы.

На вечеринке в саду лондонские гости часто принимают ее за незамужнюю дочь местного сквайра (отец Беатрисы умер, она ведет хозяйство для брата), но ее движения неожиданно быстры, а жесты чрезвычайно выразительны.

Между собой соседи считают, что выйти замуж ей мешает неприличествующая девушке бойкость.

Что бы Беатриса ни делала – шла по лужайке, срезала розу с куста, заглядывала в духовку, складывала белье или надевала юбку, – во всем видны напористость, необычная уверенность в своих силах и решимость. Она строго придерживается избранного плана действий и отмечает всякие попытки его изменить, считая их несущественными подробностями. В ее жизни нет места подробностям, они ее не касаются.

О честолюбии и благонравии она не задумывается, потому что не в состоянии себя удивить. Ей известно все, что она может предложить. Глубоким знанием себя она обязана не созерцательности, а наблюдательности – словно животное, она интуитивно ощущает, как удовлетворять свои незамысловатые желания.

Если из моего описания следует, что она круглая дура, то я к ней несправедлив.

Ферма расположена на дне долины, с трех сторон окруженной крутыми холмами. Усадьба построена лет сто назад, внушительная, с большим количеством печных труб. С одной стороны дома – обнесенный стеной сад, за домом простирается газон. По долине разбросаны конюшня, коровник и всякие хозяйственные постройки. Некогда процветающая ферма считалась удачно расположенной, а сейчас кажется, что холмы ее придавили.

После смерти отца Беатрисы и особняк, и уголья пришли в запустение. Брата интересуют только лошади. Землю приходится продавать. При жизни отца здесь получили наделы пять арендаторов; теперь осталось всего пятьсот акров.

Дом по-прежнему содержится в порядке. Прислуга два дня в неделю начищает столовое серебро. Зимой в главной спальне топят камин. Когда хозяин выезжает на охоту, его сопровождает конюх. Раз в год, в июне, на лужайке за домом, в тени раскидистых буков

устраивают прием, на который собирается много гостей. И все же особняк слишком велик для брата с сестрой. Обрабатывать землю некому. В общем, начинается медленное обезличивание угодий, и через двадцать пять лет в усадьбе устроят санаторий для раненых офицеров.

Джослин, брат Беатрисы, на пять лет ее старше.

Крупный, красивый мужчина с бледно-голубыми глазами на первый взгляд выглядит волевым, уверенным в себе человеком, но это впечатление быстро рассеивается. Ничто не смущает его неколебимого спокойствия, точнее, апатичности, заставляя собеседника пересмотреть свою первоначальную оценку. Однако едва лишь – с пугающей внезапностью – Джослину приходит в голову какая-то мысль, как в глазах загораются искры, и он с невероятной убедительностью восклицает: «Великолепно сработано!» Властность его суждений (даже для мальчика, который не знаком с историей) основывается на неких ценностях прошлого. А затем Джослин и сам будто погружается в прошлое и вновь становится глубоко апатичным, вялым созданием. Что же делает его таким непредсказуемым?

Для понимания особенностей характера Джослина следует рассмотреть его в перспективе. В конце девятнадцатого века английская аристократия переживала необычный кризис. Их власти ничего не угрожало; в опасности оказался тот образ, который английская знать являла миру. Высшие слои общества приспособились к промышленно развитому капитализму и торговле, но продолжали вести жизнь наследственных поместных дворян, что становилось несовместимо с современным миром. Широкомасштабная финансовая деятельность, развитая промышленность и империалистические вложения капитала требовали от власти определенного стиля управления, а народные массы желали демократии. И английские дворяне, верные своей натуре, приняли решение смелое, но легкомысленное. Раз уж их образу жизни суждено исчезнуть, его надо сначала возвеличить, открыто и бесстыдно превратив в захватывающее зрелище, в своего рода театральную постановку. Они больше не настаивали на своих привилегиях по праву родства, а если и оправдывали их существование, то только на словах; вместо этого они играли спектакль, строго соблюдая все законы и условности сценической драматургии. С начала 1880-х годов в этом заключался основополагающий смысл светской жизни – охота, скачки, придворные балы, регата, пышные приемы.

Публика с восторгом отнеслась к подобному апофеозу аристократии. Любые зрители считают, что актеры являются их собственностью. Прежние повелители народа стали шутами, развлекающими массы. Пока внимание народа было отвлечено, высшие слои общества – лучшие представители своего класса – приспособились к новому, тщательно замаскированному способу правления. Как феникс, аристократия возрождалась из пепла своего пышного убранства, используя его в качестве театрального реквизита.

Джослин – мелкопоместный, неродовитый дворянин. Он регулярно выезжает на охоту и участвует в провинциальных скачках, тем самым укрепляя свою веру в то, что это и есть жизнь, а ничем не заполненный промежуток между ними – своеобразный затянувшийся антракт. Поэтому Джослина трудно понять. Когда он уходит со сцены, ему нечего делать – он не подает реплик, не играет роль и становится необычайно апатичен. Однако же не потому, что ему хочется под гром аплодисментов блистать на подмостках – нет, он счел бы это вульгарным; он искренне принимает представление за реальность.

Его наряд полностью соответствует отведенной Джослину роли: высокие сапоги с коричневыми отворотами, шпоры, вельветовые бриджи, линялый алый сюртук, белый галстук, невысокий цилиндр, стек с длинным хлыстом.

С ноября по апрель Джослин выезжает на охоту четыре раза в неделю.

Следует заметить, что слово «представление» использовано здесь как метафора, чтобы лучше объяснить искусственность, символизм и восхитительно заманчивый образ происходящего. Тем не менее и сцена, и декорации, и реквизит – настоящие. Зимний день, гончие, норы, изгороди, поля, лисы, изнеможение скачки – все это совершенно реально. Ощущения, вызываемые действиями, становятся еще острее из-за скрытого символизма, понятного каждому охотнику.

Садясь в седло, становишься властелином, рыцарем. Олицетворяешь благородство – и этическое, и сословное. Покоряешь. Участие в сражении, пусть и скромное, становится достоянием истории. Честь начинается с человека, сидящего верхом на лошади.

Псовая охота – забава отважных, тех, кто уважает скорость и выдерживает темп.

Охота противоположна владению. Охота не соблюдает границ, несется по полю. На охоте человек свободен так же, как свободен вспугнутый лис.

Верховая охота – скачка с группой единомышленников, которые, независимо от своего нрава, разделяют с тобой эти ценности и помогают их сохранить. Изобретение колючей проволоки противостоит этим ценностям. (На колючей проволоке впоследствии погибли миллионы пехотинцев, бросаясь в атаку по приказу своих генералов, сидящих верхом на конях.)

Однажды в декабре Джослин возвращается домой раньше времени. Его лошадь забрызгана грязью. Он спешивается и ведет лошадь в поводу. Поначалу он не в состоянии распрямиться, бредет согнувшись, будто старик с клюкой.

– Еще две мили, старина, – говорит он лошади.

Лошадь и человек идут бок о бок. Человек вспоминает основные происшествя дня: свои собственные впечатления, рассказы приятелей. Он устал до мозга костей, но за усталостью кроется удовлетворение, скромная гордость. Он совершенно уверен, что так же, как преступление – к примеру, предательство или кража – влияет на ни в чем не повинных людей и их поступки, честная верховая охота распространяет по миру пусть крошечную, но бесконечную волну благородства. Он глядит вверх, где в безбрежной пустоте мерцают редкие звезды, и ощущает отсутствие громадных резвых скакунов, что некогда пронеслись по небосводу.

* * *

Мальчик сидит на ступеньках и слушает разговор в спальне. Позже он поймет, что голоса звучат, как беседа супругов перед сном: не влюбленно, а спокойно, задумчиво, с легкостью и долгими паузами. (Иногда дядя рано уходит к себе в спальню, и в такие вечера тетюшка относит ему горячее питье – горячительное, со смешком замечает она.) Слов мальчик не разбирает, но тон разговора, манера, в которой мужской и женский голоса сплетаются, встречаются и отталкиваются друг от друга, в том, как звуки дополняют и завершают друг друга, и в то же время четко отличаются, как металл и камень или как дерево и кожа, и сливаются в гармоничном скольжении, в обрывистом шорохе и резких паузах, из которых складывается гул разговора, – все это красноречивее любых отчетливо произнесенных слов говорит о силе принимаемых решений, неподвластных возражениям постороннего слушателя.

* * *

Летом 1893 года целых три месяца стояла засуха. Наконец разразился ливень.

Мальчик выбегает из дома. От земли пахнет мясом.

На ладонях – запах лошадей и упряжи. Запах складывается из ароматов кожи, седельного мыла, пота, копыт, лошадиной шерсти и дыхания, травы, овса, грязи, попон, слюны, навоза и запотевшего металла.

Мальчик подносит ладони к лицу и с наслаждением вдыхает аромат. Иногда запах остается на пальцах весь день, до самого вечера, хотя поездка верхом случилась утром.

Лошадь и упряжь пахнут совсем не так, как коровник. Эти запахи можно назвать полной противоположностью друг другу. Коровник означает молоко, ткань, женщин, сидящих на корточках подле коров, жидкий навоз, перегной, тепло, розовые ладони и такое же розовое вымя, полное отсутствие тайн и имена коров: Красотка, Капризуля, Пышка, Куколка, Лакомка, Крошка.

Запах лошади и упряжи для мальчика связан с природой его собственного тела (внезапно он понимает, что оно теплое), с гордостью (он хорошо ездит верхом, и дядя его хвалит), с лошадиной гривой и нетерпеливым желанием поскорее узнать все о мире мужчин.

Какие-то подробности этого мира мальчику известны, но он считает, что все они относятся к тому, чего никто не упоминает. Ему кажется, что мужчинам необходимо все держать в секрете, как поступает и он сам. Когда он попадет в этот мир – и поскачет за гончими капитана Элуэйса, – то узнает все его тайны.

Мисс Хелен

За три года – с двух до пяти лет – у мальчика сменилось три гувернантки. Последнюю зовут мисс Хелен.

В классной комнате, расположенной в том крыле особняка, которое дальше всего от кухни и двора, мужчин нет; там один только мальчик. Он сидит за столом, болтая ногами, и читает вслух. Гувернантка устроилась в кресле, повернув его так, чтобы смотреть в окно.

Когда мальчику кажется, что она о нем забывает, наблюдая за происходящим за окном, он нарочно делает ошибки, чтобы привлечь ее внимание. Иногда ошибки непреднамеренные... все лето шли дрозды.

– Дрозды?

– Ну да, пестренькие такие.

– Все лето шли дрозды?

Мисс Хелен встает, разглаживает платье на тонкой талии и подходит к мальчику, становясь у него за спиной, заглядывает в книгу.

– Все лето шли дожди! Дожди, а не дрозды, – смеется она.

Мальчик смеется вместе с ней, запрокидывает голову, касается затылком ее платья.

– Да, дрозды – это птицы. Певчие. А здесь подлежащее – дожди.

В пять или шесть лет любовь – явление редкое, однако по сути своей такое же, как и в пятьдесят.

Для того чтобы пятилетний мальчик влюбился, необходима предпосылка. Он должен потерять родителей или утратить всякую возможность близкого общения с ними; приемных родителей у него тоже не должно быть. Вдобавок у него не должно быть ни друзей, ни братьев или сестер. Тогда он – подходящий кандидат.

Влюбленность – изощренное чувство предвосхищения постоянного обмена определенными дарами, от мимолетного взгляда до предложения себя самого, целиком и полностью. Впрочем, дар должен оставаться даром, его не предъявляют по требованию. У влюбленного нет прав, за исключением права с нетерпением ожидать даров, которыми его пожелает наградить возлюбленная. Дети, как правило, обладают многочисленными правами

(на снисхождение, на утешение и тому подобное), поэтому они не влюбляются. Но если ребенок, в силу указанных обстоятельств, осознает, что имеющиеся у него права – не данность, если он догадывается, пусть и не в полной мере, что счастье – не непреложное обещание, а то, что каждый должен найти сам для себя, если он понимает, что одинок, то начинает ожидать от другого постоянных, безвозмездных и невинных даров. Это состояние и называют любовью. Однако что он может предложить в обмен? Мальчик, как и мужчина, предлагает самого себя – это вполне возможно. Тем не менее невозможно – точнее, невероятно, – что объект его любви когда-нибудь распознает этот дар или поймет это чувство.

– А что такое подлежащее? – спрашивает он.

– Это главный член предложения, который называет то, о чем в предложении говорится.

Вы наверняка возразите (как возразила бы и она, только более расплывчато), что пятилетний мальчик физически не развит, он не в состоянии испытывать физического влечения, которое лежит в основе любви.

Каждое утро он слышит, как она умывается у себя в спальне. Каждое утро ему хочется неожиданно войти к ней – выдумать какой-нибудь предлог, сказать, что ему страшно. Но такой поступок выражает детскую требовательность, а мальчик влюблен, и гордость влюбленного его от этого удерживает.

По ночам в постели он придирчиво рассматривает свое тело и обнаруживает, где именно расположен таинственный источник его возбуждения. (Ее присутствие, вот как сейчас, когда она стоит позади, а он затылком касается ее платья, заставляет его сердце биться сильнее, а все тело обволакивает истома, как в горячей ванне.) Он изучает свой нос, уши, подмышки, соски, пупок, дырочку в попе и пальцы ног. Добравшись до своего торчащего пениса, он понимает, что там скрывается некий ответ, и ласкает себя, ощущая знакомое сладостное возбуждение, которое накатывает, волна за волной, и внезапно превращается в боль. Приятное чувство он полагает хорошей болью, потому что единственное знакомое ему ощущение такой глубины и силы – это боль.

– Давай споем, – предлагает он.

В отличие от предыдущих гувернанток мисс Хелен чрезвычайно ленива, к урокам относится небрежно и занимается со своим подопечным лишь тем, что им интересно. Вместо трех уроков до обеда они просто проводят утро вдвоем. Мальчик считает, что это уравнивает их в правах. Мисс Хелен проводит это время в праздных мечтаниях.

Она подходит к фортепиано и усаживается на круглый вертящийся табурет.

– Можно, я тебя покручу? – просит мальчик, становится ей за спину, прижимает ладони ей к бедрам и толкает.

Она поджимает ноги, спрятав туфли под юбками, и медленно поворачивается.

«Ах, у него личико, как у обезьянки, а глаза темные и глубокие. Он такой смешной! Все смотрит и смотрит, пока не отвернешься. Не представляю, о чем он думает».

Через два дня она собирается на неделю в Лондон.

Мальчик заметил – и считает это уникальной чертой, – что ее платья всегда теплые на ощупь.

Она опускает ноги на пол.

– Что скажет твой дядя, если нас увидит?

– Он никогда сюда не приходит. А если бы и явился, то верхом на коне, заглянул бы в окошко.

Мисс Хелен невольно глядит в окно.

- Давай я тебя еще покручу.
- Нет, – почти капризно отвечает она.
- Тогда спой песню, – просит мальчик. – Мою любимую.
- Какую?
- Ту самую, про Хелен. Твою песню.
- Она смеется и треплет ему вихры.
- Можно подумать, я других песен не знаю.

Голосок у нее тоненький, как у ребенка. Когда она поет, ему представляется, что они одного роста и рядом выглядят замечательно. Он давно не слушает слов песни (Ах, если бы я был подле Хелен...), потому что хорошо их знает и совсем им не верит. Отвергая слова, он слушает пение мисс Хелен, как птичье. Пока она поет, он будто бы спрашивает: «Хелен, ты выйдешь за меня замуж?», а она своей песней отвечает ему: «Да». Но сам он в это бы не поверил: это невозможно, так уж устроен мир.

Она опускает глаза, словно смотрит в ноты. Полуопущенные тяжелые веки – гладкие, выпуклые, без морщин и складок. Однажды она спала в гамаке на лугу, а на лицо ей села муха.

Мисс Хелен воображает, как беззаботно поет «свою» песню подопечному, а ее слышит мистер Джон Леннокс, кандидат в члены парламента от партии либералов округа Росс-он-Уай. Мистер Леннокс подходит к ней и говорит: «Я и не предполагал, что среди ваших многочисленных талантов еще и превосходный голос».

Мальчик, взбудораженный тайной, от которой по ночам отвердевает его член, начинает задавать вопросы, но делает это невнятным языком незавершенных фраз, смутных образов и схематичных жестов тела.

Приблизительно его вопросы можно перевести так:

Почему я заключен в кожу?

Как поближе подобраться к ощущаемому мной наслаждению?

Что во мне я так хорошо знаю, но никто об этом больше не догадывается?

Как объяснить это посторонним, чтобы они тоже знали?

В чем я? Что это за вещь, посреди которой я себя обнаружил и из которой мне не выбраться?

Он уверен, что мисс Хелен сможет ему ответить с помощью того же невнятного языка, на котором он ее расспрашивает. В классной комнате он задает ей свои обычные вопросы – откуда берется дождь? что ест волк? и тому подобное, – и мисс Хелен на них отвечает. Таким образом он готовит ее к своим тайным вопросам.

Ее руки лежат на клавишах фортепиано – бледные тонкие пальцы, коротко подстриженные ногти. По воскресеньям она надевает белые перчатки. Возвращаясь из церкви, мальчик берет мисс Хелен за руку. Он пленен и очарован тем, как она касается клавиатуры – то легким, почти мимолетным касанием, когда палец небрежно ласкает клавишу и тут же перелетает к другой, то тяжелым ударом, вдавливая клавишу и удерживая ее, так что видны неполированные бока соседних клавиш. Ее пальцы будто вонзаются в фортепиано. Последняя нота затихает вдали.

– Теперь играй, а я тебе спою.

– Что ты мне споешь?

– Твою песню.

Мальчик старше шести или семи лет больше не влюбляется – до тех пор, пока не станет подростком. Теперь у него много знакомых. Мир за пределами его тела расширяется,

разделяется на множество людей, любой из которых может заявить ему, что они непохожи. В пять лет этого не происходит.

В отсутствие родителей мальчик все еще ищет единственного человека, который представляет собой все, что отлично от него, чтобы предстать перед ним как его недостающая половина, его противоположность. Если он найдет такого человека, отличного от него опытом, ролью, происхождением, интересами, возрастом, полом, и если человек этот, в самом широком смысле слова, скажется для него совершенно чужим и все же постоянно и непосредственно будет находиться рядом с ним, и если в довершение всего она будет цветущей красавицей, то он наверняка влюбится.

И все же, возразите вы, физическое влечение и страсть отсутствуют – и в качестве доказательства приведете тело пятилетнего мальчика. (Два раза в неделю, когда его купают, он сам приводит эти доказательства своей возлюбленной.) Однако свою физическую неразвитость он восполняет метафизически. Он ощущает и чувствует, что она, будучи полной противоположностью, дополняет его и довершает для него мир. У взрослых это ощущение воссоздается физической страстью. Пятилетнему мальчику воссоздавать его нет необходимости – оно им унаследовано.

Он начинает петь, не задумываясь о словах, пристально наблюдая за ее пальцами на клавишах. Потом подходит ближе, касается щекой ее плеча.

Вскоре вместо мисс Хелен нанимают учителя.

Мальчик не просит объяснений, да их ему и не предлагают. Он привык принимать решения как неоспоримые факты. Для него верховная власть не сосредоточена в руках одного человека, а потому возможность обжаловать решение не приходит в голову.

Он прикладывает ухо к коре, вслушивается в дерево. Он никогда прежде не слушал мертвое дерево. Деревья он мысленно делит на четкие категории: любимые и нелюбимые (без особых на то причин). Те, на которые слишком легко взбираться, и те, на которые взбираться страшно. Те, с вершины которых открывается красивый вид, и те, с которых ничего интересного не видно. Дальше категории усложняются. Деревья живые, но не так, как звери. В чем разница? Во-первых, дерево доступнее. Во-вторых, оно загадочнее. В-третьих, оно неподвижно. В-четвертых, на дереве можно спрятаться. Если вырезать что-нибудь на коре, то дереву не больно. Если с дерева отрубают ветку, то нет ни звука, ни запаха боли. И все же, когда он прижимается к древесной коре, то она кажется живой, как его собственная кожа, и ощущение это сильнее и глубже любых рассуждений. Если дотронуться до животного, оно ведет себя по-своему. На одно дерево мальчик забирается высоко-высоко и целует ствол – всегда в одно и то же место.

* * *

Течение дня обычно не замечают; нас отвлекают повседневные дела. Нежданная гроза, буря или затмение солнца заставляют на мгновение забыть об обыденной суете бытия. Но в самом начале или в самом конце дня, на восходе или на закате, когда наше отношение ко всему окружающему стремительно изменяется, мы уделяем бегущим минутам такое же пристальное – а пожалуй, и большее – внимание, как и тем действиям, которыми обычно заполняем время. Даже самый законченный эгоист, глядя на зарю, забывает о себе. Скорее всего, это происходит потому, что начало дня и наступление ночи неизменны и не зависят от того, что происходит в течение дня.

Иногда мальчику позволяют завтракать на кухне, вместе с работниками. Он неделями потихоньку расширяет границы дозволенного, и теперь завтрак на кухне означает, что мальчик может встать раньше всех, выскользнуть из дома, заниматься чем душе угодно и к половине восьмого явиться на кухню вместе с пастухом.

Холодным зимним утром, спустя несколько месяцев после того, как ушла мисс Хелен, он встает затемно и украдкой убегает на лужайку, к букам.

То, что он ощущает, глядя на освещенные окна коровника и особняка, представляет собой леденящее дополнение к пылающей тайне его тела в постели. Каждое освещенное окно намекает на скрытую за ним комнату. Из каждого окна он выдвигает ящик комнаты наружу. В ящике спрятаны тепло, безопасность и привычное течение жизни. Но самого мальчика там нет – он под покровом тьмы у буков. В темноте и на холоде его чувства так ограничены, что ему чудится, будто он смотрит на мир из крошечной хижины, куда едва вмещается тело. Вопрос, который мальчик не в состоянии сформулировать даже на невнятном языке, гнездится где-то между особняком и воображаемой хижинкой. В поле, на холме, пасутся овцы – они чуть светлее темноты, как отпечаток дыхания на темном оконном стекле, растворяющийся во мраке. Мальчик осознает, что овцы остаются вне вопроса, не поддающегося определению. Темнота сменяется предрассветными сумерками, мальчик начинает различать очертания своего тела, и воображаемая хижина исчезает, а вместе с ней – и ощущение вопроса, оставшегося несформулированным.

Мальчик спускается во двор и входит в коровник, где две доярки и пастух заняты дойкой. Он похлопывает каждую корову по крупу и называет их по именам.

Чай за завтраком на кухне отличается от чая в классной комнате. Здесь другие чашки – толстые и громадные, почти как плошки.

Он пьет обжигающе горячий чай – крепкий, но жидкий. Нёбо обволакивает тонкая пленка, непроницаемая, гладкая и блестящая, будто слюдяные пластинки, которые вставляют в стенки фонаря. Вкус чая во рту перебивает всепоглощающая сладость сахара, нитью Эвридики стекает в горло и загадочным образом через желудок проникает в крошечную сексуальную область (которая у мужчины отлична от собственно половых органов), где постепенно накапливается и откуда горячей волной выплескивается сексуальное наслаждение. Так сахар знакомит нас с прелестями интимной жизни.

«Мед бывает чистым или токсичным, как и женщина, которую в нормальном состоянии можно сравнить с «медом», но она же выделяет яд в период женского недомогания. Для мысли туземцев поиски меда представляли своего рода возвращение к природе, процедуру, наделяемую чертами эротичности, перенесенными из разряда сексуальных характеристик в разряд чувственно вкусовых. Эта черта могла бы стать подкопом под фундаментом всей культуры, если бы ее культивации уделялось слишком много внимания»⁵.

На кухне пахнет беконом и сапогами работников.

Повариха стоит у плиты и с невероятным удивлением наблюдает за завтраком семи работников и трех горничных. Изумленное выражение возникает у нее на лице всякий раз, когда люди поглощают приготовленную ею пищу. Аппетит едоков повариху давно уже не удивляет; изумление, скорее всего, имеет более приземленную, первозданную природу – нечто поглощают, и оно перестает существовать.

В кухню входит тетюшка мальчика, треплет его по голове и решительно направляется к буфету у окна. Горничные робко поглядывают на нее. Она высматривает в окно брата. В те

⁵ Клод Леви-Стросс, «Мифологии. Происхождение застольных обычаев».

редкие минуты, когда она не хлопочет по хозяйству, Беатриса, будто молодая жена, с тревожным нетерпением ждет его появления. Повзрослев, брат утратил собранность и деловитость, растерял навыки. В юности он служил предметом ее восхищения, но и теперь, двадцать лет спустя, она все так же хранит ему верность.

Мальчик пьет чай и следит за тетушкой. Она вглядывается в окно, почти касаясь лицом стекла. Он знает, что тетушка, как обычно, ждет брата. Мальчик украдкой встает из-за стола, выскальзывает в кладовую, выбирается во двор, прижимаясь к стене, чтобы его не заметили из кухни, и, обогнув дом, оказывается под окном, у которого стоит его тетушка. На миг он замирает, с трудом сдерживая смех, предвкушая забавную шалость.

«Тетушка ждет своего брата – а тут я!»

Он взбирается на деревянную поилку, медленно выпрямляется и прижимает нос к стеклу, глазами упираясь в грудь тетушки. Вначале она его не замечает – ее взгляд устремлен вдаль, она ждет, что брат войдет в калитку. Мальчик смотрит на ее лицо снизу вверх. Она опускает глаза, в них вспыхивает смешливая искорка. Тетушка улыбается, и он радостно хохочет. «Вот он, я!»

Числа

В комнате установили доску. Комната превратилась в класс. Исчезли все напоминания о том, что когда-то здесь была детская, а еще раньше – малая гостиная. На полках в шкафу стоят учебники. На стене висит карта мира, большая ее часть выкрашена в алый цвет охотничьего сюртука – территория Британской империи. Рядом с картой повесили часы. Время мисс Хелен миновало, и мальчик осознает, что это непреложно. Как и то, что у него нет отца. Впрочем, о последнем ему сказали, а о первом он догадался сам.

- Еще раз посмотришь на часы – и занятия арифметикой продолжим после обеда.
- После обеда мы с дядюшкой поедем кататься верхом.
- Я поговорю с твоим дядюшкой.
- Ничего из этого не выйдет.
- То есть как?
- Мы с дядюшкой едем кататься верхом.
- Встань!

Учитель встает и нарочито медленно направляется к фортепиано. Привычный ритуал служит напоминанием о том, что ожидает мальчика. Со стены над фортепиано учитель снимает трость.

- Что полагается за дерзость?
- Один удар по рукам, сэр.

Мальчик протягивает руки перед собой, раскрывает ладони.

Он научился терпеть наказание. После удара учитель всегда пристально вглядывается в лицо ученика, будто в поисках доказательств. Выражение лица должно точно соответствовать боли в руках. Если мальчик чересчур напрягается, то остро ощущает, что написано у него на лице, проникается жалостью к себе и может заплакать. Если он расслаблен, то боль отражается в глазах и сжимает горло прежде, чем он успевает к ней приспособиться. Поэтому при каждом наказании он должен четко определить силу ожидаемого удара, оценивая дыхание учителя и то, как сильно он втягивает живот под жилетом. Если догадка верна, то по выражению лица учителю ничего определить не удастся, и мальчику почти не больно.

Удар трости по левой ладони полагается за ошибку, которую учитель исправил на предыдущем занятии (к примеру, в слове «количество» не две буквы Л, а одна); ошибка,

повторенная трижды за день, наказывается ударом по правой ладони; за ослушание (вот как сейчас) ученик получает удар по обеим ладоням; за дерзкое неповиновение – три удара. Поначалу такая система наказаний удивляла мальчика, но сейчас он воспринимает ее привычно, как стрелки часов, указывающие время. Час занятий кажется бесконечным; два часа на свежем воздухе пролетают незаметно.

– Что больше, две трети или три седьмых?

Мальчик, ощущая в вопросе подвох, глядит в окно на Бассетский лес.

Учитель решает, что ученик ему нравится, однако его своеволие необходимо обуздать, иначе мальчику трудно придется в жизни.

В комнате поварихи стоят высокие напольные часы. Их тиканье завораживает мальчика, обещая бесконечное время, но тихие щелчки, отмеряя секунды, заполняют бесконечность, и это удручает. Он терпеливо считает медленные движения тяжелого бронзового маятника – двести, триста, – а потом ему надоедает, хочется разбить круглое стеклянное окошко в часах, за которым из стороны в сторону раскачивается круглый диск грузика.

Кошка поварихи взбирается на колени мальчика. Он чешет ей за ухом, она мурлычет. Мальчик все больше и больше погружается в завораживающий транс, будто раскачивается в гамаке, подвешенном к двум ветвям сознания: к бесконечной протяженности времени в нерушимом доме (ему семь с половиной лет, он живет здесь уже пять лет и не представляет себе, что дом можно сломать или уничтожить) и к равнодушной, живущей своей жизнью кошке на коленях. Жар кошачьего тела проникает сквозь ткань штанишек, согревает бедра и живот.

Двое мужчин

В сумерках мальчик выходит из леса на холме за буками и спускается к дому. Осенний вечер. Лужи. Алый закат. Из печных труб стройными столбиками поднимается дым. С одного дерева на другое с шелестом перелетает горлица. С земли веет холодом, зябко от пяток до пояса. Рядом трусит пес, и это меняет перспективу. Предметы и события реже накладываются друг на друга, места вокруг становятся больше. Пес кружит у ног, убегает вперед, отодвигая границу непознанного, – процесс, обратный тому, как овчарка собирает стадо. Неизвестное настойчиво. «Чего не может случиться? – спрашивает ребенок и сам себе отвечает: – Ничего». «Что может случиться? – спрашивает взрослый и отвечает: – Ничего». А ребенок идет по лесу, как ребенок.

Шагах в пятидесяти от него пес заходится лаем. Браконьеры? Мальчик на той стадии развития, когда сама мысль о браконьерах окутана тайной. Дядюшка называет их преступными убийцами, созданиями, которым неведома жалость, которые ни перед чем не останавливаются. Дядюшка считает браконьеров угрозой общественному порядку (точно так же, как Умберто оценивает толпу горожан). Из разговоров, жестов и подмигиваний работников мальчику становится ясно, что среди их друзей и знакомых есть браконьеры.

– Вот если б мировой судья поголодал... – замечает один из батраков.

«Значит, браконьерам голодно?» – спрашивает себя мальчик. Невозможно вообразить, как проголодаться до такой степени, чтобы пойти браконьерствовать. Голодные псы набрасываются на еду, трясут и мотают головами. В сумерках мальчик представляет, как оголодавшие люди жадно поглощают пищу, трясут и мотают головами. Он идет быстро, не бежит, но и не замедляет шага. В нем живет страх. Мальчик несет его, как наполненный кувшин. Пролить нельзя ни капли, потому что тогда страх захлестнет все вокруг.

Пес замирает, наострив уши и приподняв переднюю лапу. Из леса доносится характерный звук людских шагов: под сапогами потрескивает хворост, шуршит палая листва, пружинят корни. На опушку выходят двое. Вместо рубаш через голову надеты мешки, подвязанные на поясе. Холстина местами промокла, потемнела. Мальчик никогда не видел этих людей. У одного в руках бутылка.

– Не бойся, сынок, – обращается к мальчику второй.

Мальчик стоит неподвижно, опасаясь расплескать кувшин. Лица у мужчин тяжелые, квадратные, похожие на маски, вырезанные по верхним углам массивного шкафа в спальне джорков. Незнакомцы приглашают его пойти с ними.

– Мы тебя не тронем, – обещает тот, что с бутылкой.

Они разговаривают с ним, как с ребенком. Это придает ему некоторую уверенность.

– Как тебя зовут? – спрашивают они.

Мальчик называет свое имя.

Они идут дальше. Предыдущий жизненный опыт не подготовил мальчика к этой прогулке по лесу с мужчинами в грубой холстине; он не может определить, обычно это или нет. А вдруг случилось нечто из ряда вон выходящее, и позже дядюшка или учитель объяснят, что именно произошло? Но смогут ли они объяснить?

– Куда мы идем? – спрашивает он.

– Посмотришь, – отвечает мужчина с бутылкой.

В темноте лиц не видно.

– погоди, – говорит другой мужчина, отходит в сторону и приносит откуда-то незажженный светильник, похожий на каретный фонарь.

Его приятель вливает в светильник какую-то жидкость из бутылки. Пахнет керосином. Светильник зажигают, подкручивают фитиль, и все идут дальше. Пес скулит и отбегает в темноту. Все молчат. Свет зажженного фонаря отбрасывает тени ввысь, на небо.

Мужчина впереди останавливается, поднимает фонарь над головой.

– Видишь?

Мальчик вглядывается в темноту, различает три обрубка толстых ветвей, уложенных поперек тропинки. Очертания обрубков чем-то знакомы. Его охватывает испуг. Мальчик понимает, что это – лошадиные ноги. Рука мужчины с лампой чуть вздрагивает, свет выхватывает из мрака край блестящей подковы, будто гвоздь, забитый в древесный ствол. Лошадиные ноги неподвижны.

– Ну что?

– Лошадь упала.

– Одна лошадь? – спрашивает человек с бутылкой. Голос у него ласковее, чем у приятеля.

– Не знаю.

– Чего стоишь? – говорит второй, взбирается на пригорок и поднимает фонарь повыше.

На земле лежат две лошади, обе на боку. Здоровенные тяжеловозы. Странно скрюченные, будто они упали на колени, сломали ноги и перекатились через голову. Пес сопит, шумно обнюхивает одну из лошадей.

– Они умерли? – спрашивает мальчик.

– погоди, – неторопливо отвечает человек с бутылкой, тот, у которого ласковый голос.

– Ты чего? – возмущается тот, что с фонарем.

– Дурак ты, – говорит первый и поворачивается к мальчику. – Слушай, сынок, я их сейчас забью. Видишь, они упали, а встать не могут. Надо их прикончить.

Мужчина на пригорке опускает фонарь пониже.

– Смотри, раз тебе говорят, – замечает он.

Человек с бутылкой подходит к голове первой лошади, наклоняется и ударяет. Мальчику не видно, чем он ее бьет. Может, бутылкой. То же происходит у головы второй лошади. Громадные конские туши даже не вздрагивают от ударов. Мужчина разгибается. В руках у него ничего нет.

– Ну вот, я их забил. Видел?

Мальчик понимает, что надо соврать.

– Да, – отвечает он.

Мужчина подходит к нему, поощрительно хлопает по плечу. На ладони, пахнувшей керосином, темнеют пятна крови.

– Значит, видел, – уточняет он.

– Да, видел, – кивает мальчик. – Ты забил двух лошадей.

Он осознает, что разговаривает с незнакомцем, как взрослый с ребенком.

– Молодец, одним ударом забил, – добавляет мальчик.

– Давай мы тебя назад отведем, – предлагает мужчина. – А если кто спросит, ты расскажи, что видел, как я их забил. Мы тебе посветим.

– Так я пойду? – спрашивает мальчик.

– Мы тебя проводим, сынок.

– Я дорогу найду, – говорит мальчик. – Даже в темноте.

Ужасы обратного пути меркнут перед мерзким отвращением, которое он испытывает к незнакомцу. Еще чуть-чуть, и от запаха керосина его стошнит.

– Так я пойду, – повторяет мальчик.

– Гляди, не забудь, что я сделал.

Они расходятся. Свет фонаря исчезает. Запах керосина витает навязчивым воспоминанием. Мальчик ощупью пробирается между деревьев.

Он переборол свои страхи: и страх за себя, и страх неизвестности (это совсем другой страх). Однако совладал он с ними не силой воли и не храбростью – эти отвлеченные нравственные принципы редко срабатывают в действительности. Нет, со страхами ему помогло справиться совсем другое. Трудно подобрать определение чувству омерзения – слова его упрощают. Оно никак не связано ни с забоем лошадей, ни с видом крови. Подобное отвращение часто возникает и у детей, и у взрослых, но если не обращать на него внимания, оно быстро забывается. Мальчик хорошо его запомнил, и оно пересилило страхи.

Он выходит из леса на вершину холма над особняком. Земля на крутом склоне не вспахана, холм покрыт густыми зарослями папоротника. Мальчик спускается к дому, спотыкается о длинный побег, падает ничком и кубарем катится по склону. Остановить падение легко, нужно лишь ухватиться за стебли или корни, но мальчик не желает останавливаться. Так, кувыркаясь через голову, он хочет скатиться к изножью холма. Когда упираешься головой в землю, то на миг кажется, что склон – это равнина; освещенные окна дома таинственно мерцают, словно огни на дальнем горизонте. Когда голова отрывается от земли, то будто летишь по небу. Пес бежит следом, восторженно лая, обнюхивая заросли. Каждый кувырок – точно дверь, которая то распаивается, то захлопывается. Равнина – распаивается – небо – захлопывается – равнина – распаивается – небо – захлопывается, и влажно пахнет папоротником. Хлоп, стук, хлоп, стук. Равнина. Из коровника доносится звук льющейся воды.

После этого случая в лесу мальчик часто взбирается на холм, к лесной опушке, и нарочно скатывается по склону.

Однажды повариха застает его за этим занятием.

– Шею сломаешь, – говорит она.

– Моя шея не сломается.

Падение

Мальчик увидел ветку, словно созданную для того, чтобы сбить его с лошади. Все последующие рассуждения, все предположения, возникающие в отношении возможности сделать выбор, были сметены в тот самый миг, когда он осознал, что ветка обязательно сбросит его с лошади.

Время отмеряют не цифрами на циферблате, а частотой наших предчувствий. Без них – перед веткой, возникающей над ушами скачущей лошади, – время претерпевает необычайные изменения. Его медлительность невозможно вообразить.

Мальчик лежит на кровати в хижине батрака и ждет, когда ход времени придет в норму. Как только это произойдет, он сможет застонать.

В хижине, похожей на сарай, куда поставили кровать, хлопчет старик. За окном видна яркая зелень листвы. На подоконнике стоит свеча. Постель покрыта старой попоной, которая пахнет влажной грязной тряпкой.

Старик разжигает огонь под почерневшим чайником. Потолок хижины пестрит бурыми разводами, местами штукатурка осыпалась, открывая дранки крыши. Бурые разводы похожи на застарелые пятна чая. Старик двигается медленно, с трудом. Очевидно, это тот самый старик, который, по словам дядюшки, умрет в рабочем доме.

Рот мальчика опух. Он осторожно ощупывает языком десны, откуда вылетели зубы (так возникла его знаменитая ухмылка). Грудь натужно, болезненно вздымается и опускается, как старик, дующий на угли очага.

– Ты кто? – спрашивает мальчик у старика.

Тот подходит к постели, садится на край. В застывшем времени, которое вот-вот сдвинется с места, мальчик и старик одного возраста.

Я не знаю, что говорит старик.

Я не знаю, что отвечает ему мальчик.

Притвориться, что знаешь, будет слишком схематично.

Между тем развитие настолько сдерживается, а приближение конца так замедлено, что желание сдержать слезы остается неколебимым и длится часами.

Ветка ударила его в лицо и грудь. Наверное, то же самое испытывают при попадании пули. Сила столкновения так велика, что внутреннее «я» уклоняется от любых внешних связей, хотя подобное явление не имеет ничего общего с забытием. Мальчик не потерял сознания, но внезапно его тело вкупе со всеми его ощущениями и воспоминаниями превратилось в бескрайнюю ферму, по которой он непонятным способом передвигался. В отдалении виднелась какая-то бесформенная темная масса, состоящая из каменных поверхностей и воды. Он стремительно к ней приблизился и проник внутрь в тот самый миг, когда спина коснулась бедра лошади; едва ноги взлетели в воздух над холмой, мальчик вытянулся вертикально в облачной расщелине; потом ударился о землю, и внезапно поля раздвинулись, будто занавес, и открыли безбрежное синее небо, под которым не было земли, а был только он. И тут он потерял сознание.

Он выныривает из забытья. В постели его стойкость проистекает из первоначального решения не закричать при виде ветки, принятого час назад, прежде чем его нашел старик. В постели мальчик все еще решает. Для него время замерло, и стойкость требуется не для того, чтобы придерживаться решения, а для того, чтобы принимать его бесконечно.

(Именно поэтому палачи чередуют пытки с утешением, разрушая подобное восприятие времени, необходимое телу для защиты.)

Все написанное – схема. Ты – схематичный писатель. Изложение напоминает теорему. До определенного момента.

Какого именно?

До того, как поднимается занавес.

– Возвращайся к мальчику.

– Кто это говорит?

– Старик.

– Что мальчик чувствует?

– Спроси старика.

– Глянь-ка, – говорит старик. – Даже не стонет, бедняжка.

Дом – последний рубеж перед концом. Поэтому умирающие хотят умереть дома.

Мальчик не умирает.

Он дома, в кровати, накрытый одеялом, от которого пахнет отсыревшим грязным тряпьем.

В тот миг, когда его падение и боль застыли во времени, он нашел дом.

Мальчик вышел из своих владений к старику.

Они встретились на равных. Их встреча не подчинялась никаким правилам. Кость столкнулась с костью.

Но как только ощущение времени возвращается к мальчику, он снова становится ребенком.

– Эх вы сверзились, ваша милость. Не волнуйтесь, лежите себе тихонько. Сейчас дядюшка ваш приедет, в телеге домой повезет.

– Не хочу я никуда ехать.

– Ну не здесь же вам оставаться.

– А что такого? Чья это?

– Что «чья»?

– Чья это кровать?

– Моя, ваша милость. Я вас на тропке у Соколиной роши нашел, вот принес сюда, уложил вас.

– А чей это дом?

Он заглядывает в окна батрацких хижин, карабкается на подоконник спальни доярки, примеряет ее фартуки. Натягивает кожаные гетры Тома – мальчику они доходят до самых бедер. Ах, как интересно быть кем-то другим!

– Не волнуйтесь, я сейчас огонь пожарче разведу. Вам в тепле надо.

– А что еще ты сделал?

– Кровь вам с лица утер, да и уложил вас поудобнее.

– Я сильно разбился?

– Ничего страшного, заживет.

- Мне говорить больно.
- Ш-ш, не волнуйтесь.
- Не уходи.

Снаружи доносится скрип тележных колес. В дверях появляется дядюшка. Рядом с ним старик выглядит карликом. Джослин глядит на мальчика, улыбается, ласково что-то приговаривает. Для дядюшки случившееся – своего рода обряд посвящения подопечного. Занавес раздвинулся, жизнь началась.

Джослин тихонько беседует со стариком, вручает ему монетку. Два шиллинга. Старик сжимает деньги в кулаке, почтительно склоняет голову, отдает честь.

Дядюшка скидывает попону на пол, берет мальчика на руки. Грудь мальчика пронзает острая боль, он вскрикивает и теряет сознание.

– Отличный из тебя выйдет охотник, – успокаивающе шепчет Джослин и выносит мальчика из хижины, продолжая говорить настойчиво и убедительно: – Отличный охотник, вот увидишь.

«Всякая история – современная история, но не в обычном смысле слова, когда современная история означает историю сравнительно недавнего прошлого, а в строгом смысле слова «современность», т. е. она – осознание собственной деятельности в тот момент, когда та осуществляется. История, таким образом, – самопознание действующего сознания. Ибо даже тогда, когда события, изучаемые историком, относятся к отдаленному прошлому, условием их исторического познания оказывается их “вибрация в сознании историка”»⁶.

3

В Ливорно, на piazzа Сан-Микеле, стоит памятник Фердинандо Медичи. По углам пьедестала, на котором высится великий герцог Тосканский, скорчились бронзовые статуи обнаженных африканских рабов в цепях. Надпись на монументе заканчивается следующими словами:

«...Создан в 1617 году, после смерти Фердинандо. Позже – в период с 1623 по 1626 год – Пьетро Такка добавил восхитительные скульптурные изображения рабов, натурщиками для которых служили узники местной тюрьмы».

Три разговора об отце

- Почему у меня нет папы?
- Твой папа умер.
- Совсем-совсем?
- Да.
- Он на кладбище?
- Если будешь послушным, то после смерти отправишься прямиком в рай.
- А папа был послушным?
- Конечно.
- Всегда?
- Мы не были с ним знакомы. И твои дядя с тетей его тоже не знали.
- Но мама...
- Мама встретила его в Италии.

⁶ Р. Джи Коллингвуд, «Идея истории».

- А что он там делал, в Италии?
- Что-то связанное с кораблями.
- А он англичанин?
- Нет, итальянец.
- А как мама его называла?
- Доедай суп, не отвлекайся.
- Его поезд переехал?
- Кого?
- Папу. И он умер.
- Не знаю.
- А мама его не остановила?
- Суп доешь!
- А я тоже умер! Ха-ха-ха! Умер!
- Доедай!

* * *

- Почему мне об отце ничего не рассказывают? Я спрашиваю, а ты не отвечаешь.
- Я его никогда не видела. И твой дядя тоже его не знает. Спроси у матери.
- Ты притворяешься. Ну, скажи, кто он был?
- Торговец из города Ливорно, в Италии.
- Итальянец?
- Да, итальянский коммерсант.
- А они долго были женаты?
- Нет, не долго.
- А правда, что он попал под поезд?
- Кто тебе такое сказал?
- Повариха.
- Не знаю.
- А он был очень старый, когда умер?
- Он был намного старше твоей матери.
- А я на него похож?
- Я же тебе сказала, что никогда его не видела.
- А как ты думаешь, похож?
- Наверное... Глаза у тебя темные, не как у матери.

* * *

- Хочешь поехать в Италию?
- Когда?
- На следующей неделе. В Милан.
- А Милан рядом с Ливорно?
- Нет, Милан далеко.
- Я хочу сходить на кладбище в Ливорно, на могилу отца.
- Кто тебе сказал про могилу?
- Никто. Мертвых хоронят на кладбище.
- Нет, с чего ты решил, что она в Ливорно?
- Ну, он ведь там жил.
- А если он не умер?

- Не может быть.
- Он жив, представь себе.
- Но ты мне сказала, что он умер.
- Произошла ужасная ошибка. Мы решили, что он умер.
- И даже не надеялись, что он жив?
- Говорю же, ошибка.
- Значит, он жив?
- Да.
- Его не задавило поездом?
- Хочешь его навестить? Мы с тобой к нему поедem.
- С тобой? Если он жив, то, наверное, все дело в том, хочешь ли ты его видеть.
- Не дерзи.

* * *

Путешествие на поезде в Париж, два дня, проведенные с друзьями, а затем – поездка в Милан. Мальчик никогда прежде не проводил столько времени в обществе матери. Она не похожа ни на кого из известных ему людей, хотя он слышал о ней всю свою жизнь. Мать одновременно родная – и чужая. Рядом с ней мальчику кажется, что он играет роль в пьесе о своей возможной жизни. Все в ней предполагает альтернативу.

Она все время разговаривает с ним, но не так, как с ребенком. (С тех самых пор, как Лаура оставила его с родственниками, она думала о нем как о взрослом, сформировавшемся человеке – таким образом, гордость за сына превозмогала чувство вины. Теперь мальчику одиннадцать лет, и она думает о нем как о мужчине, к которому можно обратиться за поддержкой и оправданием; как о человеке, который во многом заменяет ей отца.) Она беседует с ним о социализме, о важности образования, о будущем женщин, об искусстве – в Милане они увидят «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, – о своей подруге Берте Ньюкомб, которая обожает Бернарда Шоу, о европейских нациях и их характерных чертах.

Мальчик не понимает многое из того, о чем рассказывает мать. Слова проносятся мимо, как пейзаж за вагонным окном, – непрерывный поток далеких, бесформенных образов. Материнский голос не похож на известные ему голоса (она по-прежнему говорит без остановки), но словно ей не принадлежит. Мальчик выходит погулять в коридор, возвращается в купе и с непонятым удивлением замечает, что мать никуда не исчезла, хотя он это почти ожидал. Она засыпает, и мальчик сжимает ей ладонь – крепко сдавливая, ощущает ее материальность и изумляется этому так же, как если бы заметил, что отражение в зеркале движется само по себе.

Многие черты матери хорошо ему знакомы по снам и мыслям: легкие прикосновения маленьких пухлых ладоней; широко распахнутые золотисто-зеленые глаза (как глаза фарфоровой куклы); пышная грудь и приземистая, коренастая фигура (будто мешок, набитый шелком); интонации, с которыми она произносит отдельные слова – ПРАВА, ИДЕАЛЫ, ПОЗОР; гиацинтовый аромат, под легкой вуалью которого скрывается другой, неизвестный (для мальчика) запах. Впрочем, все эти черты не складываются в личность матери, а просто напоминают ему, что она ими обладает.

Иногда за окном вагона или кареты какая-то женщина привлекает его внимание – впрочем, такое случается очень редко. Мальчик рассматривает ее и воображает, что это – его мать. Если незнакомка сидит с ними в вагоне или в дилижансе, то подобное притворство невозможно. Женщина должна оставаться совершенно неизвестной. Вот и сейчас он замечает прохожую в синем атласном платье с тонкой талией. Она заливисто смеется – именно этот смех выделяет ее в толпе и вызывает интерес мальчика. Он представляет себе, что она –

его мать. Или вот толстуха, обвешанная покупками так, что кажется, она не пройдет в дверь вагона? Или дама в шляпе со страусовыми перьями, сидящая в ландо? Под юбкой со шлицами видны узкие брючки. Мальчик не сравнивает этих женщин с матерью. Цель игры – не выбор, кто из них больше подошел бы на ее роль; это бы ему быстро наскучило. Вдобавок, если бы он выбрал кого-то вместо Лауры, то стал бы глубоко несчастлив. Воображаемые матери за стеклом заполняют пустоту, которую олицетворяет Лаура. Он никогда прежде не играл в такую игру. В присутствии матери он ощущает некое отсутствие, с которого следует начать.

Лаура с Умберто не виделись больше одиннадцати лет, и теперь их сын, в костюмчике и кепи, напоминает им о том, как это долго.

На платформе миланского вокзала сын в первый раз видит отца; отец впервые видит сына; любовник видит свою бывшую возлюбленную матерью своего сына, а мать видит своего бывшего возлюбленного отцом своего ребенка. На платформе под огромным стеклянным куполом вокзала все трое впервые встречаются как семья – преуспевающая, достойная завистливого восхищения. Мать с отцом не обмениваются поцелуем, но мать подталкивает сына (который сравнялся с ней ростом) к отцу в объятия. В течение следующего часа им всем кажется, что каждый из них – необъятное, невозможное видение, будто лицо, нарисованное на гигантском воздушном змее.

Лаура пытается объяснить себе перемены, произошедшие с Умберто. Он превратился в карикатуру на капиталиста. Ее лондонские приятели-фабианцы не поверили бы, что это – отец ее ребенка. Они решили бы, что он воспользовался ее наивностью и добросердечием. Умберто растолстел, стал медлительным. В его лице четче проявляются упрямая настойчивость и тяжеловесность мышления, хорошо знакомые Лауре по письмам. Кожа огрубела и потемнела, под глазами мешки. Лаура сравнивает его с сыном, решает, что с мальчиком гораздо легче вести естественную, интеллектуальную беседу. Умберто превратился в ребенка – в старого, богатого, толстого ребенка. Он произносит бессмысленные, бессвязные фразы; в глазах стоят слезы.

– Всю жизнь! Всю мою жизнь... – беспрерывно бормочет он.

Умберто почти не замечает, что Лаура оплыла и обрюзгла. Она напряженно сжимает руки при ходьбе, от нетерпения скалит зубы в натянутой иронической улыбке, но все это меркнет в сравнении с переменой, которую так долго ждал Умберто: Лаура стала матерью его сына, который больше не ребенок. Умберто не сводит глаз с мальчика.

В гостинице только и говорят о том, что Италия на пороге революции. Ходят слухи, что в промышленных районах города уже началась стрельба.

Умберто внезапно понимает, как смешна обстановка гостиницы: роскошные диваны, обитые красной кожей, диковинные цветы в оранжерее, лифты с золочеными решетками, покорные горничные в белоснежной форме. Его любовь к гостиничному великолепию сменяется глубоким отвращением. Он хочет привести сына домой. В гостинице любая близость – за исключением близости сексуальной – невозможна. Великолепие гостиницы безлико и лживо.

Бывшая любовница и сын Умберто прячутся от него в номере за бесконечными дверями; ему чудится, что все в гостинице скрывают лица под масками. Несмотря на ненависть к революции, Умберто несколько часов напряженно прислушивается к разговорам. Теперь, наконец-то встретив сына, он понимает, что все изменилось, и страх перед резкими переменами отступает на второй план. Он замечает нервные взгляды постояльцев и осознает, что именно отличает его от остальных: им необходим маскарад, а ему не нужна маска. В следующие часы Умберто ощущает неясное соответствие между бушующими в нем чувствами,

которых он не в состоянии выразить в гостиничной обстановке, и волнением толпы, собравшейся в северном пригороде Милана.

С несвойственной ему горячностью Умберто объясняет своей бывшей возлюбленной возникшую политическую ситуацию. Он говорит о старческой немощи Франческо Криспи, о беспомощности Антонио Старабба ди Рудини, о гениальных замыслах Джованни Джолитти.

– У нас нет другого выбора! Джолитти или анархисты! Прогресс или революция! Может быть, восстание вернет Джолитти к власти... – Умберто поднимает руку, трясет мясистой ладонью перед лицом Лауры.

Лаура смутно (в ней это не вызывает никаких эмоций) припоминает, что когда-то считала Умберто разбойником. Ей кажется, что и поведение Умберто, и все происходящее подтверждает правоту ее намерений. Она приехала, чтобы потребовать – не ради себя, но ради сына – то, что принадлежит мальчику по праву. Она мысленно произносит слово СПРАВЕДЛИВОСТЬ тем самым особым тоном, который уже отметил про себя ее сын.

– Почему ваше правительство не готово решить проблему бедности? Во всем мире уже...

– Проблему бедности?! – восклицает Умберто и смеется. – В Италии бедность – не проблема. Это образ жизни. Все богачи одинаковы, а у бедности – тысячи лиц.

– Вот поэтому все так и происходит! – огрызается Лаура.

Время от времени родители поглядывают на сына, будто обращаясь к нему за поддержкой. Отец смотрит на мальчика покровительственно, а мать – ища защиты. Мальчику чудится, что они втроем встретились слишком поздно; он больше не ребенок, готовый взять от них то, что предлагает каждый, независимо друг от друга, хотя раньше был бы этому рад. В масштабе своей жизни он старше и взрослее их обоих; о его жизни им ничего не известно, и это делает их детьми.

Мальчик наблюдает за родителями и непрестанно задается вопросом: какими они были до того, как мать обрюзгла, а отец растолстел? Что заставило ее когда-то принять отца, хотя сейчас она противится каждому его слову, каждому жесту? Какая сила ее обезоружила? Или она сама покорилась? Найти ответ мальчик не в состоянии.

Тем временем его родители обсуждают альтернативы революции.

К вечеру тучи затянули небо над городом. Собор, залитый свинцовым светом сумерек, похож на огромный осколок шрапнели. Вода в пригородных каналах кажется черной. На площадях нечем дышать, будто город целиком упаковали в ящик.

Миланские грозы отличаются особой силой. Перед грозой в Милане возникает странное ощущение искореженного, непостоянного пространства. Здания становятся непомерно большими в сравнении с человеком, нависают грозной громадой, давят – и в то же время кажется, что город вместе со всеми жителями уменьшился до размеров экспоната в музейной витрине. Возможно, в подобном искривлении восприятия виноваты резкие перепады атмосферного давления. В тот вечер это ощущение многократно усиливается.

В гостинице зажигают электрические светильники. Раскаленные нити в лампочках сияют серно-желтыми дугами. Из холла на втором этаже гостиницы видны подсвеченные колонны Ла Скала – судя по всему, вечерний спектакль не отменили.

Постояльцы гостиницы собираются у высоких окон. Издалека доносится шум толпы. Площадь необычайно безлюдна. Мужчина в шейном платке рассеянно поглаживает бархатную портьеру; прикосновение к ткани его успокаивает.

Консьерж поспешно взбегает по лестнице, подходит к старику в кресле, шепотом докладывает новости, которые только что сообщили швейцару. Старик поднимает голову и громко произносит:

– Прошу внимания, господа!

Консьерж, будто церемониймейстер, объявляет, что рабочие завода Пирелли захватили полицейский участок. На город идет колонна повстанцев из Павии. Вожаки анархистов подбивают рабочих выйти в центр города. Пожары вспыхнули в...

– Надо объявить военное положение и ввести войска! – восклицает еще один старик, обращаясь к своим сыновьям (один из них – военный).

Сыновья равнодушно пожимают плечами.

Через миг за окнами грохочет гром, стекла дрожат, шум ливня похож на рев пожара. Постояльцы гостиницы напряженно смотрят в залитые водой стекла. Огни Ла Скалы гаснут. Лаура шепчет Умберто, что хочет уйти к себе.

Мальчик разглядывает темные портреты великих сынов Пьемонта, висящие на противоположной стене. Умберто, впервые оставшийся наедине с сыном, чувствует необходимость совершить некий обряд. Он подходит к сыну сзади, жестом священника возлагает ладони на макушку мальчика. Сын не двигается. Сейчас он, как никогда прежде, ощущает в себе вопрос, возникающий у него всякий раз при виде фермы в предрассветных сумерках, однако не в состоянии облечь его в слова.

Кажется, дождь стучит по стеклу витрины, в которой выставлен город. На лестничной клетке в глубине гостиницы слышен сдавленный женский вопль.

Официант спешит к тяжелой двери, обитой медью. За ней начинается коридор, ведущий в подсобные помещения гостиницы. Вопль – кричала посудомойка, недавно приехавшая из деревни (все деревенские боятся грома и молнии, считая их проявлениями гнева Божьего), – сделал свое дело, напомнил постояльцам, что именно такого вопля они с необъяснимым ужасом долгие годы ожидали в подобных обстоятельствах. Вопль становится сигналом.

Ливень разгоняет толпы протестующих рабочих. Гроза сделала то, чего не смог добиться вожак социалистов Филиппо Турати, призывавший демонстрантов к порядку и спокойствию.

Гроза пугает не только деревенскую посудомойку. Гроза напоминает миланским стражам закона и порядка о неотвратимой природе бури. В ночном небе сверкают молнии, заливая жутким сиянием площади, оглушительные раскаты грома эхом отражаются от дальних гор и городских зданий. Безудержная ярость ливня и воздух, дрожащий от электрического напряжения, призрачно отражают настроения взбунтовавшихся масс. Днем убили двух рабочих и полицейского. После грозы призрак бунта приобретает четкие очертания. Власти приходят к выводу, что только грубая сила предотвратит бурю революции, символом которой стала ночная гроза. Подобные рассуждения оправдывают последующую массовую расправу с демонстрантами.

На ужин в ресторане гостиницы постояльцы приходят в вечерних нарядах. Черные фраки и белые манишки мужчин делают их неотличимыми от официантов; создается впечатление, что все мужчины в зале прислуживают женщинам, разодетым в цветные платья. Журчит вода в фонтане. Повсюду расставлены кадки с лимонными деревцами и олеандрами. На столах красуются вазы с розами.

Умберто берет белую розу из вазы, аккуратно обламывает черешок, вытирает его сложенным платком, встает и, держа полураскрытый бутон перед своим широким лицом цвета желтой глины, отвешивает поклон Лауре, вульгарно выпятив губы в типично итальянской манере, обозначающей благодарность. Впрочем, вульгарность жеста несколько смягчается сдержанностью Умберто и тем, как он держит розу у рта, словно цветок – это слово, слетающее с губ.

– Прошу тебя, дражайшая Лаура, принять эту...

– Не надо, – гневно шипит она, смущенная его напыщенностью и намеком на ухаживание. Для нее подобный намек отдает беспардонным смешением прошлого и настоящего.

Умберто церемонно вручает розу сыну, сидящему между родителями.

– Передай ей, пожалуйста, – говорит он.

Мальчик кладет цветок рядом с суповой ложкой у материнской тарелки.

Внезапно Лаура преисполняется уверенности. Возможно, Умберто осознал ее намерения: она желает, чтобы все дальнейшее общение с ней проходило через сына. Она берет розу, медленно поворачивает ее, подносит к глазам и вновь опускает на стол перед мальчиком.

Умберто замечает внезапную перемену в настроении Лауры и, не в силах сдержать удовольствие от неожиданной победы, предлагает:

– Давайте закажем *pollo alla cacciatore*. Помнится, дражайшая Лаура, ты всегда любила это блюдо.

Он впервые упоминает о прошлом, и мальчик заинтересованно смотрит на отца. Лауре льстит, что Умберто вспомнил ее любимое блюдо. Замечание подтверждает то, что ей хотелось подтвердить: когда-то в далеком прошлом Умберто стал отцом ее ребенка. Она дарит Умберто мимолетную улыбку, выразительно глядя на него. Мальчик перехватывает взгляд матери и вспоминает, что с таким же выражением Беатриса смотрела на Джослина. Взгляд говорит о тайном общем интересе, основанном на событиях, совместно пережитых в прошлом, которых сын с ними разделить не может – не из-за того, что они случились много раньше, а из-за их природы. Мальчик остро ощущает себя третьим лишним.

– Что значит «полло что-то там»? – спрашивает он.

– Это курица в винном соусе с грибами, горошком и овощами. Полло алла каччиаторе.

– Нет, что это значит?

– Курица по-охотничьи. Так ее охотники готовят.

В уме мальчика возникает стойкая ассоциация между взглядом и блюдом. Подобный взгляд становится взглядом *pollo alla cacciatore*.

Вдоль берегов Италии плещут волны Средиземного моря. Кое-где вода светится по ночам. Миллионы жителей страны голодают. На юге вспыхивают бунты.

Разъяренная толпа врывается в муниципалитет, уничтожает налоговые ведомости и реестры, забрасывает камнями прибывших полицейских; в город входят войска, солдаты открывают огонь по бунтовщикам. Народ с проклятиями отступает, на улицах остаются убитые и раненые. Несколько месяцев спустя история повторяется в другом городке⁷.

Акциз на муку свыше пятидесяти процентов, на сахар – триста процентов, на мясо и молоко – двадцать процентов. Соль облагается таким высоким акцизом, что крестьяне ею не пользуются. Жителям прибрежных районов запрещено черпать соленую воду из моря – это объявлено преступлением. Днем охранники стреляют в женщин, приходящих на берег с ведрами. Ночью безопаснее. С краев ведра срываются светящиеся капли. В этой нелегально добытой воде завтра утром сварят макароны.

Майские события 1898 года

Мальчик просыпается рано, прежде чем проснулись родители, и незаметно выскальзывает из гостиницы.

Люди на улицах говорят на непонятном языке, и все вокруг становится двусмысленным. Обычное и необычное загадочным образом смешиваются. Вот мужчина бросается

⁷ Запись рассказа очевидца, точный источник не установлен.

к карете и кричит на кучера – напуган или опаздывает? Вот шесть девушек (их головы повязаны косынками) шагают по тротуару, взявшись за руки и расталкивая прохожих, – это происходит каждое утро или только сегодня? У обочины человек читает газету вслух... остановка конки? Вокруг собираются люди, что-то выкрикивают – в одобрение или от гнева? Ювелир закрывает лавку, прищипливает записку на ставни.

На улицах так много народу, что экипажи и конка с трудом проезжают в толпе. Колеса конки повизгивают на рельсах. Интересно, они всегда так визжат?

Невысокий юноша с бородкой удивленно глядит на мальчика. По одежде ясно, что ребенок из респектабельной буржуазной семьи. Собравшаяся толпа – бастующие рабочие. Они пришли послушать выступления ораторов в городском парке.

– Что ты здесь делаешь? – спрашивает юноша по-итальянски. – Тебе здесь не место.

Мальчик, почти одного роста с юношей, пожимает плечами и качает головой.

– Ты за нами шпионишь, – подозрительно заявляет юноша.

– Я не понимаю, – отвечает мальчик по-английски.

– Ах, ты не итальянец!

Все попытки объясниться безуспешны – мальчик не понимает, что ему говорят. Подозрительность юноши исчезает, он дружелюбно обнимает мальчика за плечи. Незнание языка защищает ребенка от лицемерия и обмана слов, делает его беспристрастным свидетелем событий. Станным, парадоксальным образом юноша сравнивает бессловесность мальчика со всемирным характером революции.

– Эй, познакомьтесь с нашим птенчиком! – подзывает он сестру, стоящую рядом, в окружении своих фабричных подруг. – *Ecco il nostro pulcino*.

Юноша с бородкой не вышел ростом, но отличается крепким сложением и широкой грудью. Лицо у него вытянутое, как у хорька. Он работает в ремонтной бригаде на ткацкой фабрике. Его уже дважды арестовывали и депортировали с тех пор, как правительство Криспи приняло в 1894 году закон о чрезвычайных мерах по охране общественной безопасности.

– Пусть он с вами побудет. Он не знает итальянского.

Среди шести девушек-ткачих мальчик выделяет цыганку, на два-три года старше его самого. Лицо девушки покрыто оспинами, над верхней губой темнеет пушок. Из-под белой блузки с короткими рукавами палками торчат загорелые, невероятно тощие руки. Мальчик со смущенным восхищением косится на ее усики.

Девушки без стеснения обсуждают внешность мальчика и высказывают всевозможные предположения о его происхождении.

– У него очень красивые глаза.

– А ботиночки-то шевровые!

– Откуда он?

Они с восторгом разглядывают его, берут за руку, увлекают за собой. Подросток – уже не ребенок, но еще не мужчина – служит связующим звеном между романтическими девичьими мечтами и теми ухажерами, из которых девушкам придется выбирать себе мужей. (Самая старшая из работниц зарабатывает меньше десяти пенсов в день.)

– Я буду звать его моим женишком, *affianzato*, – заявляет цыганка, которой придает смелости общее возбуждение, осознание своей непривлекательности и то, что мальчик ничего не понимает.

На виа Корсо Венеция собирается пятидесятитысячная толпа; заводские и фабричные рабочие выстраиваются в колонны, кое-где собираются группки поменьше. Неизвестно, сколько народу пришло на демонстрацию, но чувствуется, что представляют они большинство. Массы требуют того, что не могут выразить поодиночке: вот, взгляните, все мы – необразованные, изможденные, в обносках – заслуживаем всех земных благ.

Юноша с бородкой забрался на дерево у входа в городской парк и громогласно объясняет, кому куда следует идти.

Теперь люди другими глазами смотрят на город. Фабрики и заводы не работают, магазины закрыты, движение остановлено. Народ вышел на улицы. Горожан обуяла жажда созидания. В обычной жизни они приспосабливаются к обстоятельствам, а сейчас, на улицах и площадях, они сметают обстоятельства с пути, отрицают привычные условности, с которыми еще недавно покорно смирялись. И снова массы требуют того, чего не могут выразить поодиночке: почему нас вынуждают по кусочку распродавать жизнь, чтобы не умереть от голода?

Рабочим в толпе неведомы тонкости политики. Политика – это способ обмана и разубеждения, инструмент принуждения и порабощения. Политика держит людей в подчиненном положении. Политика – это государство, угнетающее бесправный народ. В сердце каждого живет желание пригрозить всему политическому арсеналу угнетателей единственным доступным оружием: справедливой расправой. К справедливости взывают люди в Милане и к будущему. Однако справедливая расправа подразумевает судью. А здесь ни судьи, ни правосудия быть не может.

Кавалерия идет в наступление. Звучат первые выстрелы – пока стреляют над толпой.

Кавалеристы выезжают шеренгами, по пять-шесть всадников. Толпа расступается и тут же смыкается за ними – не из сопротивления, а чтобы не попасть под копыта лошадей. Люди теснятся, сбиваются в тесные группки и, едва всадники проезжают мимо, снова возвращаются на освободившиеся места. Шеренги всадников дружно разворачиваются широкой дугой; то один, то другой участок толпы сжимается и вновь расширяется, словно бьется гигантское сердце. Кое-где слышны испуганные вскрики и пронзительный визг, но преобладают гневные возгласы.

Шеренга кавалеристов приближается. Лошадь встает на дыбы над девушками, сбившимися в кучку. Мальчик ездил верхом с раннего детства, но раньше не подозревал, что коня можно использовать как оружие. Человеку на мостовой брюхо вставшей на дыбы лошади представляется ужасающим зрелищем. Огромная тяжелая туша нависает над тобой, сверкая подкованными копытами, силу удара которых легко вообразить, глядя на мощные мышцы конских ног. Впрочем, к физической угрозе примешивается кое-что еще. Лошадь, как и человек, – создание из плоти и крови, костей и сухожилий. Животное тяжело дышит, напуганное жестокостью седока. Лошадь, поднятая на дыбы, так же незащитна, как и человек, над которым она нависла. Страх, пронизывающий человека, бессознательно передается и коню.

Кавалерист напряженно смотрит вдаль, мельком поглядывает вниз, крепко сжимает зубы – так, что не сглотнуть. Голова его возвышается на пять футов над толпой, глаза следуют за невидимой нитью приказа. Всадник равнодушно отпихивает тянущиеся к нему руки ногами, обутыми в сапоги со шпорами, и время от времени вонзает шпору в бок коня, заставляя его двигаться вперед.

Мальчик завороченно глядит на кавалериста и не сходит с места. Цыганка резко дергает его за руку, тянет за собой. Они пускаются наутек. Свободной рукой она подхватывает юбки. Плечи и предплечья у нее невероятно худые, а кисти рук крупные. Она уверенно бежит к городскому парку.

Мимо проносят раненого. Вокруг в панике бегут люди, звучат крики и стоны, льется кровь. Вот бредет толстяк, поддерживая за талию женщину с закрытыми глазами и залитым кровью лицом. Толпа редет. Кавалеристы настойчиво теснят оставшихся. Посреди улицы пожилой человек, потрясая кулаками, осыпает солдат проклятиями.

– Труссы! *Rinnegati!* – кричит он, подступая к шеренге всадников, замерших в ожидании приказа.

Офицер велит ему остановиться. Звучит выстрел, и мужчина ничком падает на мостовую.

Бабочки цвета серого песчаника, бабочки цвета жимолости. Высокая, до колен, трава. Лепестки полевых цветов выгорели на солнце, почти побелели; впрочем, их белизна непохожа на глиняную белизну крохотных улиток. Изящные соцветия шпажника сияют, как прозрачные аметисты размером в полмизинца. Яркие полыхают алые маки – так изображают огонь дети. Вянувшие цветы свешивают тяжелые влажные лепестки, похожие на винные пятна. Там и сям на поле виднеются низкие серые бугры, гладкие, будто дельфины бока. Густые заросли падуба темнеют на окраине поля. Кровь убитых на поле впитывается в сухую землю. Кровь застреленных на трамвайных путях скользкой пленкой покрывает камни мостовой. Первая смерть возлагает венок следующей.

Через парк цыганка выводит мальчика на привокзальные улочки у площади Республики, к железнодорожным складам. Девушка крепко держит его за руку – не как подруга, не как защитница, а с жадным нетерпением, словно пытаясь заставить его понять, что происходит вокруг, и идти быстрее. Иногда они останавливаются, и она обращается к мальчику на итальянском, хотя знает, что он не понимает ни слова. От потрясения и отчаяния в воображении цыганки слова, сказанные ею в шутку, превращаются в действительность, и она всерьез начинает верить, что мальчик на ней женится. Подобная игра воображения столь же невероятна, как и события, разворачивающиеся в городе. Буйство фантазии странным образом примиряет девушку с жесточенностью происходящего, и она постепенно успокаивается.

Вот перевернутый трамвайчик превращают в баррикаду. Вагон с грохотом падает на брусчатку, звенят выбитые стекла. Из остановленного экипажа выпрягают лошадь, а экипаж подтаскивают к трамваю. На железнодорожных складах путейцы вооружаются кирками и ломами. Проносится слух, что войскам отдан приказ расчистить улицы города и уничтожить всех инсургентов до единого. Путейцы торопливо разбирают железнодорожное полотно.

Грядут перемены.

Представьте себе нож гигантской гильотины, рассекающий город в длину, от одной окраины до другой. Лезвие опускается и беспощадно перерубает все на своем пути – стены, рельсы, телеги, мастерские, церкви, корзины фруктов, деревья, небо, брусчатку. Этот нож падает в нескольких шагах от любого, кто намерен продолжать борьбу. Каждый оказывается недалеко от края невидимого, но четко ощутимого бездонного разлома, зияющей раны на теле города. Отрицать происшедшее невозможно, хотя боли пока не чувствуется.

Боль приходит с мыслью о близости смерти. Мужчины и женщины возводят баррикады на улицах, осознавая, что это их последние поступки и мысли. Заграждения растут, боль усиливается.

С крыш кричат, что на углу виа Манин появились войска.

Умберто пообещал четырем служащим гостиницы сто лир и вместе с ними отправляется на поиски сына. Они прочесывают улицы за гостиницей, где нет ни солдат, ни баррикад.

– Мы с тобой переедем в Рим, – произносит девушка по-итальянски. – Нам там будет хорошо.

Мальчик слушает ее внимательно, словно понимает, что ему говорят. Смысл слов неважен; для него гораздо важнее то, что он видит.

– купишь мне белые чулки и шляпку с шифоновой вуалью, – продолжает цыганка.

На баррикадах боль исчезла. Перемены свершились. Возгласы с крыш предупреждают о приближении солдат. Жалеть больше не о чем. Баррикады возведены между защитниками и насилием над их жизнью. Жалеть не о чем, потому что надвигается воплощение прошлого. За баррикадами – будущее.

Правящему меньшинству необходимо внушить эксплуатируемым ощущение непрерывности настоящего, притупив и по возможности уничтожив восприятие времени. В этом заключается секрет любых методов лишения свободы. Баррикады разрывают настоящее.

Цыганка ведет мальчика к крыльцу дома близ баррикады.

– Давай здесь подождем, – говорит она, словно заботливая жена, предлагающая престарелому супругу укрыться от проливного ливня.

Войска приближаются. Исчезает всякая надежда на то, что они не пойдут в атаку. У баррикады стоит на коленях седой старик, упираясь в подвальную решетку. В руке у него старинный пистолет: одна пуля в стволе, вторая – в кармане. Мужчины и женщины помоложе выворачивают булжники из мостовой, складывают их горками, вооружаются дубинками и палками.

Все разговоры смолкают. Издалека доносятся звуки молота, но их заглушает топот сапог – мерный, как тиканье часов. Мальчика успокаивает звучащее в нем обещание бесконечности и угнетает невозмутимый отсчет проходящего времени.

– *La Rivoluzione o la morte!* Революция или смерть! – восклицает седовласый старик, нарушая тишину. – И пойте, пойте! Пусть слышат.

Будто по команде, цыганка выходит на крыльцо, как на сцену, и запекает *Canto dei Malfattori*, песню злоумышленников.

*Ai gridi ed ai lamenti di noi plebe tradita, La
Folli non siam ne tristi ne bruti ne birbanti Ma
lega dei potenti si scosse impaurita E
siam degli anarchisti pel bene militanti; Al
prenci e magistrati gridaron coi Signori Che
giusto, al ver mirando strugger cerchiam gli errori, Per
siam degli arrabiati, e rudi malfattori
cio ci han messo la bando col dirci malfattori!
Deh fa presto a sorgere o sol dell'avvenire
vivere vogliam liberi non vogliam piu servire*⁸.

Голос девушки трудно не идеализировать. Поначалу он кажется таким же худосочным, как ее руки, но потом наливается грубой силой. Защитники баррикады не сразу подхватывают песню, наслаждаются голосом цыганки, который мягко обволакивает улицу.

Сухо звучит первый залп.

⁸ От криков и проклятий Трясутся богатеи, А мы зовем собратьев Вперед, на бой, смелее! Нас власти кличут сбродом, Зовут бутовщиками, А мы хотим свободы, Пусть даже с кулаками. И в деле доброй воли Мы своего добьмся, Врагом роковых свергнем, От гнета их спасаемся. Скоро над нами солнце свободы взойдет! Мы вольные люди, бунтовщики, вперед!

Залп упрощает все. Оцепенение исчезает. Задача защитников становится ясна. Люди швыряют булыжники в солдат. Где-то хлопает ставень, офицер стреляет по окну из револьвера. Между солдатами и баррикадой лежат семь камней – недолет.

За баррикадой женщины на четвереньках ползают по мостовой, собирают булыжники, подносят их мужчинам.

– Погодите! Подпустите их ближе, проломим им черепушки! – говорит путеец в фуражке с красно-золотым кантом. – Швыряйте дружно, по моей команде! – Лицо у него худое, подвижное. Он широко улыбается.

Солдаты неумолимо приближаются к баррикаде, дают второй залп. Пули никого не задевают. Люди смутно надеются на то, что правое дело послужит им защитой.

– Бросай! – орет путеец.

Двадцать булыжников летят навстречу солдатам. Шеренга бойцов отступает.

– *Faccie di merda!* Говнюки! – кричит женщина из-за баррикады.

– А ты заправский артиллерист, – говорит путейцу какой-то юнец.

– Пли! – командует офицер.

Одинокий выстрел звучит не из шеренги солдат, а из окна где-то на верхних этажах. Пуля попадает в лицо путейца. Для него пуля прилетела из прошлого, из глубокой старины. Над ним склоняются три женщины, как повитухи, принимающие роды. Пуля порождает смерть.

Кубический метр пространства. Отриньте свое восприятие этого пространства. То, что останется, похоже на смерть.

Солдаты снова наступают – и под градом камней отходят на сотню ярдов. Воцаряется тишина, но она никого не обманывает. Защитники баррикады напуганы. Враг оценил их решимость и готовится к новому нападению. Повстанцы оттаскивают в сторону тело погибшего товарища и выжидают. Солдат гораздо больше, и вооружены они лучше.

– Если какой солдат до меня дотронется, я ему нож в спину всажу, – шепчет цыганка мальчику и легонько тычет ему пальцем между лопаток.

Он, словно понимая сказанное, бессильно притрагивается к ней, притворяясь мертвым.

– Вот увидишь, – говорит она.

Мальчик роняет голову ей на плечо. Ноги у него дрожат, он вот-вот потеряет сознание. Цыганка обнимает его за плечи и ведет во дворик у дома, брызжет в лицо водой из колонки, дает напиток. Он послушно глотает ледяную воду, а с улицы доносится еще один залп. Ощущение холодной воды в горле и резкий звук выстрелов сливаются воедино. Мальчик смотрит на густые брови цыганки, сходящиеся над переносицей, на темные усики над четко очерченной верхней губой, на грубое, изрытое оспинами лицо, на медлительные глаза. Ее лицо выражает именно то, что чувствует сам мальчик.

– *Che Dio li maledica*, черт бы их побрал, – произносит она.

Стрелки пробираются на верхние этажи домов вдоль улицы, стреляют оттуда в защитников баррикады. Солдаты наступают. Трое повстанцев ранены.

Вот один из раненых. Пуля попала ему под правую ключицу. Если не шевелить рукой, то боль терпима – не вгрызается в сознание, не поглощает собой все. Он ненавидит боль, ненавидит солдат. Боль, будто солдаты, захватывает тело.левой рукой он хватает булыжник, неуклюже швыряет, но при этом двигает правым плечом. Камень отлетает в сторону, ударяется о стену.

Пиши что угодно. Неважно, правду или вымысел. Говори, но тихонько, потому что ничем другим ты не можешь. Выстрой баррикаду из бессмысленных слов. Говори так, чтобы он ощутил твоё присутствие. Он поймет, что ты не чувствуешь его боли. Говори что угодно, ведь его боль сильнее различий между правдой и вымыслом. Обмотай его словами, как бинтами. Вот так. Сейчас. Сейчас все пройдет.

Судить некому.

Солдаты уже в двадцати ярдах от баррикады. Две девушки взбираются на бок трамвайного вагона, на решетку, предохраняющую пассажиров от падения на рельсы. Женщины – живые мишени, по ним можно стрелять в упор.

– Стреляйте! Ну стреляйте же, – подначивают они.

Солдаты прицеливаются, но никто не стреляет. Девушки гордо выпрямляются, приплясывают на оконных рамах вагончика.

– *Figli di putana! Castrati! Castrati!* Суки! Трусливые суки! – орут они на солдат.

Мальчик смотрит им в спины. У одной девушки дыра в чулке, у самой пятки. Ее подруга – без чулок, на лодыжке алеет пятно крови.

– *Castrati!* – На решетку торопливо взбираются другие.

На балкон на шестом этаже дома за баррикадой выходит какой-то человек, размахивает руками. Офицер командует взводу стрелять.

Человек на балконе замечает нацеленные на него ружья, соображает: «Если прыгнуть, меня застрелят в воздухе» – и сигает с балкона.

«Вот шлюхи!» – думает офицер, глядя на женщин, выкрикивающих проклятия. В их голосах сквозит мрачный, всеобъемлющий гнев. Солдаты, из рабочих и крестьянских семей, на миг возвращаются в детство. Женщины и девушки на трамвае олицетворяют для них родительскую власть. Родительский гнев равносителен осуждению. Он требует признания вины, мольбы о прощении.

Звучит приказ наступать, возвращает солдатам утраченную смелость, и они послушно вскидывают оружие и шагают вперед – кто стаскивает женщин с трамвая, кто окружает мужчин.

– *Castrati!* Трусы! – разносится над улицей пронзительный вопль.

В крике нет страха, только отрицание. Так причитают женщины над мертворожденным младенцем.

Я не способен продолжать рассказ об одиннадцатилетнем мальчике на миланских улицах 6 мая 1898 года. Все, что я напишу дальше, либо сольется с финалом, либо будет так расплывчато, что станет бессвязным. Однако не было ни слияния, ни бессвязности. Прерванное повествование, оставляя многое несказанным, помогает сохранить правду. Желание автора довести рассказ до конца убивает истину. Финал объединяет, но единство следует установить иным способом.

Шестого мая тысяча восемьсот девяносто восьмого года в Милане объявили военное положение. К девятому мая в городе насчитывалось сто убитых и четыреста пятьдесят раненых. Эти четыре дня ознаменовали конец эпохи в истории Италии. Социалисты, отказавшись от мысли о прямом революционном перевороте, ударились в парламентарную социал-демократию, а правительство вместо насильственных репрессий стало применять к рабочим и крестьянам методы политического воздействия.

* * *

В саду ливорнского особняка бьет фонтан. Вот уже три года, после смерти жены Умберто в 1895, за фонтаном, пальмами, кустами китайских роз и клумбами по-прежнему прилежно ухаживают два садовника. Умберто заказывает экзотические цветы и растения в Сеттиньяно. С каждым годом его воспоминания о почившей супруге все больше совпадают с воспоминаниями о ней друзей и знакомых. Теперь Умберто считает, что его жена была высокодуховной женщиной возвышенных устремлений.

Время от времени в прудике что-то негромко булькает, словно в воду падает камешек, – это окунь бьет хвостом по воде, уходя в глубину. Умберто не нравится сидеть в саду в одиночестве. Он чувствует себя одряхлевшим, нервничает. Он готов исполнить любое желание Лауры, лишь бы она разрешила сыну остаться в Ливорно.

Умберто кажется, что сын – не современный подросток, а юноша с картины итальянских мастеров Возрождения; его лицо – зеркало души. Умберто несколько смущает щербатая улыбка мальчика, но это легко поправить. Сыну надо вставить золотые зубы. Умберто втолковывает Лауре, как хорошо мальчику будет в Ливорно. Лаура ничего определенного не отвечает, жалуется, намекает на что-то, сама себе противоречит. Чем настойчивее уговоры Умберто, тем упрямее она становится. Он умоляет ее, бросается на колени.

– Нет, что ты! – восклицает Лаура и заставляет его подняться.

Он без устали напоминает ей о том, как хорошо им было вместе.

– Ах, малышка моя, ты была так безумна, так безумна...

– Ребенку в Италии не место, – упорствует она.

– И ты приезжай, – взволнованно говорит Умберто. – Я куплю вам дом, куплю...

Отцовские чувства предупреждают все желания матери.

Пока мать и новообретенный отец спорят о том, где и с кем будет жить сын, мальчик вспоминает водонапорную колонку в миланском дворе. Цыганка снова брызжет ему в лицо воду; его опять изумляет выражение лица девушки. Он снова осознает нечто – безымянно-прозрачное, как брызги воды.

Неважно, где он сейчас (в саду ливорнского особняка) или где был (на виа Манин); что он видит (круглое лицо матери, ее волосы, аккуратно уложенные в шиньон) или что видел (изрытое оспинами лицо цыганки, ее раскрытый рот); что он слышит (журчание фонтана) или что слышал (вопли и крики женщин), – все это переменчиво. Важно лишь то, что подтвердило выражение лица девушки, которое он до сих пор не мог облечь в слова. Важно то, что он не умер.

4

Итак, начинается смертельная схватка против сущего.

Плат святой Вероники – льняной лоскут с нерукотворным обликом Христа в терновом венце.

Я вижу на ткани другой нерукотворный образ – тело женщины с запрокинутой головой и закрытыми глазами. Изображение вполне естественное, не стилизованное, с островками темных волос. Бледная кожа почти сливается с льняным полотном, на котором лежит женщина.

Два голубя летят к лесу. Голубь преследует голубку. На опушке голубка замирает в воздухе, опускает хвост к земле, принимает вертикальное положение. Распахнутые крылья тормозят полет. Голова запрокинута, клюв устремлен в небо. Она висит неподвижно,

но не падает. Голубь подлетает к подруге, голубка снижается, опускает голову, приподнимает хвост, и они влетают в чашу вдвоем. Через минуту они снова вылетают на дальний конец опушки, делают круг и опять направляются к лесу.

Это точное описание полета голубей, но зафиксированное на бумаге перечисление (действий и слов для их описания) вводит в повествование оттенок выбора, что создает у читателя ложное мнение о видах и возможностях выбора, предоставленного голубям. Описание искажает.

Однажды в конце мая 1902 года (за несколько недель до окончания Бурской войны) Беатриса его соблазняет. Это происходит естественно, как любое неописанное событие.

* * *

В конце мая 1898 года Лаура с сыном вернулись из Милана в Англию, где выяснилось, что Беатриса помолвлена с Патриком Бирсом, капитаном 17-го уланского полка. Мальчика отправили в пансион. На каникулы он приезжает на ферму к Джослину – Беатриса уехала в Южную Африку, куда отправили полк мужа.

Пансион, где учится мальчик, как две капли воды похож на другие, многократно описанные школы. Расписание отличается спартанской простотой, идеология пронизана имперскими идеями и религиозными догмами, школьная жизнь протекает по строгим и суровым законам – воспитанников готовят к строительству империи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.